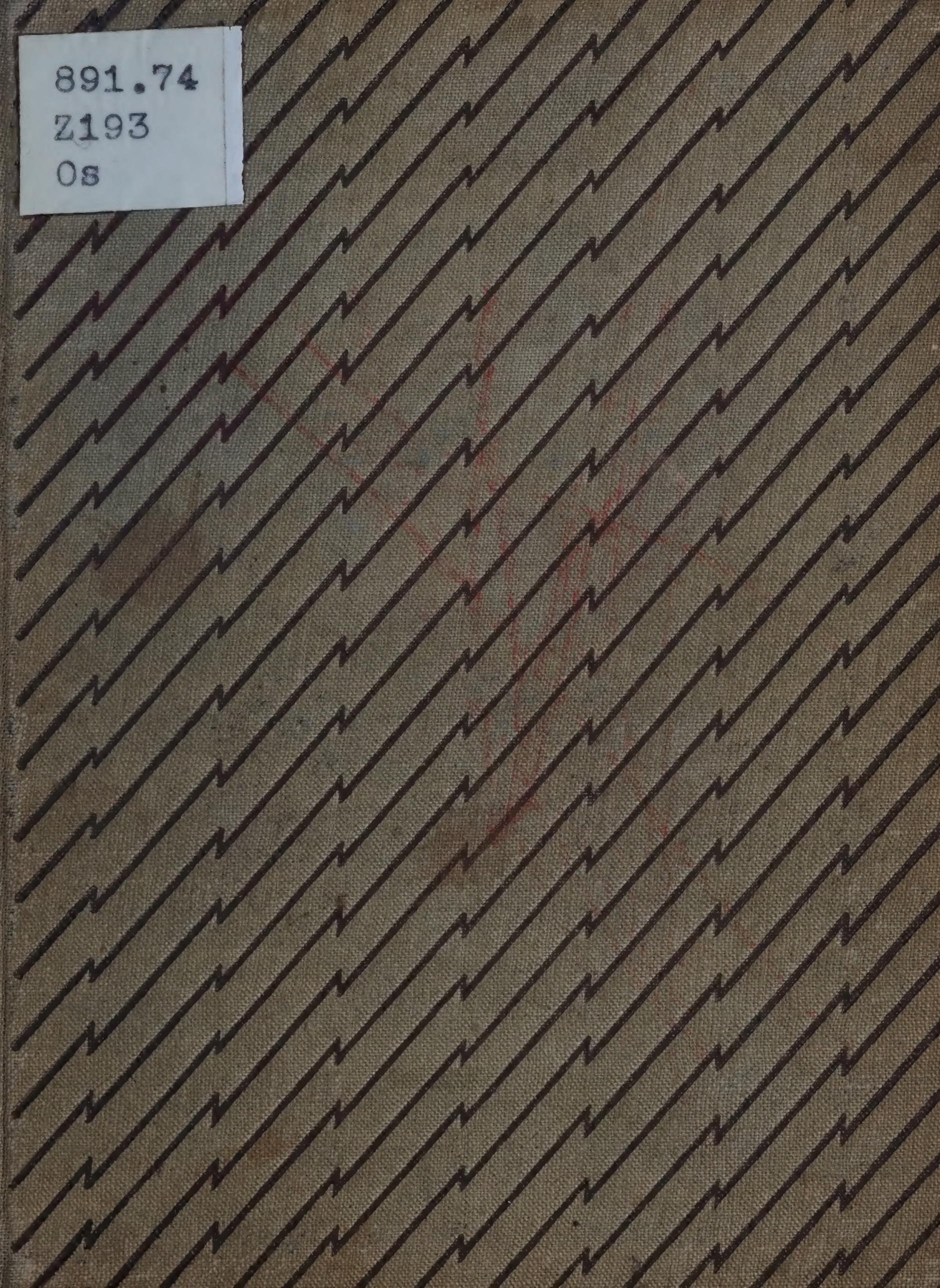
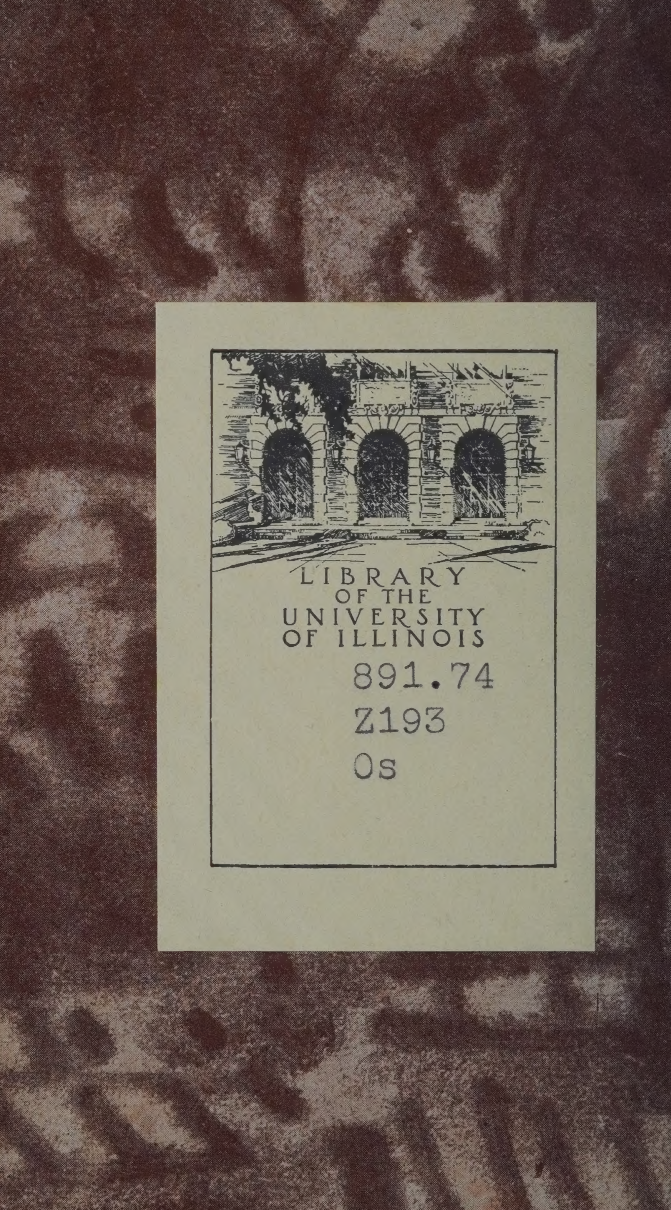












Ник. Зарудин

СТРАНА СМЫСЛА

повести молодого времени

Московское товарищество писателей

★

1934

Приложение на отдельном листе: портрет Ник. Зарудин работы художника А. Рождественсково.

Редактор О. Колесникова Техн. ред.—М. Чуванов
Художник Л. Зусман

Интернациональная (39) типография, ул. Скворцова-Степанова, 3. З. т. № 1049. Сдано в набор 26.6.33 г. Подп. к печ. 14.11.33. Статформат Б-6, 125 × 176. Печ. л. 14½.
Мособлит № 26188. Тир. 5200 экз.

1934 МТП № 378/113

Сын планеты! Прекраснее нет,
Когда лес дымит на заре.
Когда выспались тысячи лет
У дерев на упругой коре.

С нашим веком один-на-один
Еще тлеет библия звезд,
Вот уж в море заглохших вершин
Хвойным утром скользнул легкий ост.

Вот уж пятится голая ночь...
Вождь, охотник, держи этот миг!
Только б сердце тебе превозмочь,
Когда вырвется луч словно крик!

Чу! Скрипит мироздания ось...
Дым и тьма. Но рожденьем искусств
Там багровое солнце зажглось
Всех пяти освещающих чувств.

О, как выстрел встряхнул росу!
О, как с белкой расшибся мороз!
Сын планеты, в этом лесу,
Где я Маркса и Дарвина нес.

«Неизвестные стихи»

Ник. Зарудин.

Н. Ремизовой

Закон яблока

1

Сад пуст и трагичен. Пришли дни синего рая — он осыпался первый по-зимнему. В лесах еще досыпается осень, рядом кружит продутая роща, полная кленовых звезд, такая желтая, что кажется освещенной керосиновой лампой; роща светит прямо в черный засыпанный золой сад; от него поднимается вверх нежное голубое море, и тянет, и пьет глаза, — и вокруг столько прозрачности и чувства полета, что большие зубчатые листья пьянеют желанием нестись за тридевять земель.

Кордон стоит озаренный: леса освещают землю.

До станции пятнадцать верст. Колеи дорог выстланы древесным мягким шумом; катишься по ним быстро, то погружаясь в прохладу дубовых серых сучьев, то с шорохом выносясь на уютные, заросшие былинками поляны, где домовито стоят круглые шиповники, и где уже не пахнет ни мокрым турецким табаком, ни разогретой последним солнцем гнилью.

Уже прошли сентябрьские лунные ночи. В озере, отгранившем свое стекло до черной глубины, откупались розовые, свежие ивы. Наступило последнее, — заезжий Ланге знал это сердцем, он страдал от перелетного чувства, — наступило туманное, самое позднее затишье. Оранжевые тугие листы, обрызганные красным вином, картинно слетали на воду. Река давно умерла и стояла в пестрых лесах и кустарниках, остеклянившись. Пролетали

вальдшнепы и последние дрозды. Октябрьское лиловое утро поднималось блистающим собором в золоте и дыме. Роща дрожала заревом. Отсыревшие сучья сада тлели черными углями, на рассвете от них шел синий неуловимый чад.

В этот день, проснувшись, Ланге подсчитал свои лесные дни. Москва смутно мерещилась: дни складывались уже в месяц. У объездчика жили по своему календарю. Давно засолили капусту, давно залегли в придушенном, скользком сне грибные кадки. Лишь у дуплистой липы еще белели свежие стружки — следы отошедшего последнего труда.

Ланге решил приняться за работу: никто не приедет, не заглянет сюда; поезда проходят далеко в стороне, стало совсем поздно, лес готовился к снегу. С утра он решил засесть за письма. Избушка охраняла покой, отживая свой век: хозяева давно жили рядом. Все было попрежнему: невозмутимая прохладная тишь, в покосившихся окошках светился ярко-желтый экран разваленных листьев.

Ланге смотрел на стены, заклеенные сплошь старой иссохшейся «Нивой», времен японской кампании, думал. За смутными серыми листами топорщились и шуршали тараканы. «Вечная память — вечная слава, — прочитал он. — Подъесаул 113-го Заамурского казачьего полка И. Позднецов — пал смертию храбрых под Ляояном». С бумаги недвижно нависало полное лицо с добродушными усами, под косматой сибирской папахой. Другие офицерские лица были уже непроглядны, едва светились давно остановившейся жизнью. Словно громадная черная пропасть висела над временами, над Ляояном, Шахе, над узкими, вытюженными наглухо военными сюртуками.

Ланге вскочил, порвал в мелкие клочки начатый почтовый листок, прошелся по комнате. Он вздох-

нул, разгладил юношески-круглую грудь, схватил папиросы и, бросив несколько вспыхнувших и едва затлевших спичек, закурил. Ляоян и Шахе не давали ему покоя. Он лег на дощатый самодельный стол, пригнулся к самой стене и стал читать. Тонкий выгоревший шрифт сливался в сознании с чем-то давним, ставшим теперь незначительным. Слова проходили мимо его памяти. «Шимозы» — прочитал он, и сразу совсем знакомое нежданно встало виденными не раз, старинными картинами.

Шимозы! Это была целая эпоха. Перед ним поднималась глухая предутренняя рань, черная, дымящая, до нелепости громадная труба паровоза, похожая на воронку; были заамурские, забайкальские, манчжурские, бог весть какие, бегущие людьми, шинелями и солдатскими сумками, станции; над всем этим царило пламя, дико освещенные горящие фанзы, волчьими тенями мотались в огне клыкастые, оскаленные хунхузские лики. Ах, все это было знакомо! Неудержимо следовало за этим — губернское, российское, подымавшееся сплошной далью, дымами крыш, присутствиями, уходящей во тьму низких полуосвещенных улиц стародавней конкой. Реальнее всего нависала перед ним синевато-пепельная громада генеральской шинели с золотыми слитками погон. Он явственно чувствовал седые добренькие усы на розовых чистых щеках, прихрамывающую походку, палку коричневого камыша с черным резиновым наконечником...

Старина, глухая, темная старина!

Генерал двигался медленно и курил через старый пенковый мундштук; он волочил ноги в узких, мешковатых с красными лампасами брюках; большие его калоши, окованные желтой медью, с разрезами для шпор, поднимали пыль; в его руках плетеная веревочная сумка для провизии:

он сам покупает цыплят и цветную капусту. О, Тамбов, Пятигорск, Николаев! Раннее утро, парк, большие кленовые листья, попираемые генеральскими сухими, окованными калошами; наверное веет зимой, дети в шубках играют на песке, солнце пригрело пустые скамейки... Он шел медленно, почти не сгибаясь, серый, как Куропаткин, генерал и, безусловно, с фамилией вроде Клюки-фон-Клюгенау...

Ланге мучительно морщился. Он знал это сам: сотню лет тому назад, несомненно, — он сам это видел, — именно тогда, в парке, генерал покупал газету.

— Паслушайте! — крикнул генерал раздраженно и затопал бегущему, звонко кричавшему мальчику, махнув палкой.

Газетчик подлетел и на ходу выхватил целую пачку свежих липких листков.

— Паслушайте... вы! — генерал все размахивал палкой. — «Эхо», я вам говорю, мальчик! И какие это еще шимозы?!

Он взял газету, сунул мальчишке двадцать копеек.

— Идите! — крикнул он, не дожидаясь сдачи, совсем яростно. — Идите, идите, идите!

Изумление.

Но Ланге чувствовал, видел совершенно точно и определенно, как спина генерала удалялась широко и плоско, как шаркал по песку резиновый наконечник его палки; хлястик на его спине сидел очень широко и низко, шея генерала беспомощно жилилась под медно-красной щетиной.

Все это промелькнуло в его крови мгновенным физическим ощущением: шимозы, Ляоян, какие-то станции; от генерала несло старенькими сухим запахом шкатулки красного дерева. И теперь —

этот подъесаул Позднецов! Было невыносимо от этой схваченной на лету и навсегда застывшей, не уходящей жизни.

Ланге бросился из тесной, просветленной последним солнцем каморки, вышел на волю.

На сухих смирных листьях бродил тихий увядающий день. Сторожка лесника, липа у песчаного обрыва, сад, изгородь с веселым подсолнухом — совсем затерялись в безбрежности, налитой в мире. В низком кустарнике, стлавшемся серым дымом, резким полетом ласточки чертилась и взлетала по косогору тропинка. Река закуталась в дымку. Призрачно поднимаясь над лугами, уходил горный берег, весь в темных впадинах оврагов. Утреннее солнце слегка дрожало. В освещенном лесу рябины там и сям пылали изнуренным тревожным румянцем.

У сарая, за желтыми бревнами нового кордона, к нему бросилась пепельная круглая лайка и, умильно визжа, рассыпаясь пахучим мехом, стала тереться у ног. Объездчик мазал тарантас, собираясь на станцию.

— Чать, не соскучился на даче? — крикнул он весело, сияя всей своей широкогрудой и косматой фигурой, проседью бороды, круглыми и блестящими, как у зверя, глазами. — А не то прокачу до станции. К обеду обернемся, Борис Сергеич! В лесхоз мне не заезжать.

Нет, Ланге никуда не поедет. Он присел на шелушащиеся, сваленные у сарая сосновые бревна, задумался. Нет, он никого не ждет; он, собственно, всем доволен: его работа, правда, медленно, но верно идет вперед; вчера он убил трех вальдшнепов; ему отлично у объездчика Антипа Алексеевича Пестова. Вот эти письма, на один и тот же адрес, он очень просит сегодня же отправить заказными; больше у него нет никаких пожеланий...

Старик радостно и приятно вздыхает. Все будет сделано. Он аккуратно кладет письма в кожаный картуз, пробует колесо тарантаса, приподнимается и, подняв голову, слушает. Далеко, за сухими лугами, в бледном небе слабо гогочут гуси. Они оба вытягиваются, замирают.

— Воздух зовет! — говорит вдруг лесник решительно. — Солнце сичас всю землю кружит. Самая глухая пора.

Пауза.

Гуси пропали. Ланге встал, потянулся:

— Ну, счастливо доехать!

Он обнял пушистую, щекочущую сухой предзимней теплотой собаку, любовно оттолкнул ее и быстро пошел по тропинке в лес, настороженный кругом сиреневыми, частыми, как былинник, стволами.

Он шел быстро, с наслаждением вдыхая крепкий вкусный воздух, студено стоявший на рассыпанных листьях. Было особенно приятно брести, зарываясь в листву, шуршать ее желтыми сугробами, чувствовать телесную теплоту отдыхавшей всем своим огромным телом земли. За баней, черневшей провалом разбитой двери и стоявшей как отдаленный домик детства, зарывшись в мягкий, разваленный кругом лист, лес был дико прелестен. Кленовник был редок, строен, украшен золотыми и красными флагами, круглые упругие ветки его, напившись ночного тумана, стояли дерзко, полнокровно. Было видно далеко окрест: как выложен ровно и желто низ всего цепкого, ловящего каждый звук леса. Огромные кленовые звезды-листья изредка порхали, перелетывая между стволов.

Ланге остановился и замер. Паутинка ласковым прикосновением погладила его щеку. Он ничего не заметил. Он ощущал, как темнокрасным потоком неслось в нем ощущение жара, дикой воли, танцую-

щего исступления. Хотелось закричать на весь лес, хохотать, броситься на траву и целовать ее пахучие блеклые стебли. Он лег, прильнул всем телом к холодной сырой земле и стал слушать.

«Атавизм!» — подумал он машинально, надвигая на голову куртку, уходя в набегающие звуки, шопоты, почти небытие. Под его щекой ломко звенела трава, он слышал, как шумела земля, улавливал ее тугие, прерывистые удары, ощущал темные, неведомые запахи, движение воздуха.

Земля стучала медленно, осторожно. Ланге закрыл глаза. «Я завещаю себя грязной земле, на которой я вырасту своей любимой травой». Это были слова любимого поэта. Очарование их пробежало по нему исступленной судорогой. Сырой, проникающий в грудь запах земли вливался в него звуковыми сновидениями, погружал в их колдующие, мучительно неотступные волны. Слова набегали, рассыпались, окатывали друг дружку ласкающими оттенками звуков. Это было пещерно-счастливое голубое колыханье над отвесом бездонной памяти.

Он слушал. Он ждал. Он читал запах воспоминаний. Пахло полынью, ее легкая осенняя гарь приносила былое, степные дни, блекнущий седой горизонт, — едва горели затерянные глухие огни... «Южный фронт!» — подумал он торжествующе, жадно вбирая остатки своей памяти. Возникла ночь. Военная темнота пронизала его чувством щемящей тоски. Кругом на степи было заброшено, печально и скучно. Веяло мраком из разбитой хаты, тихо хрустели кони, люди спали под синими звездами, обнявшись с оружьем.

Он помнил: шипели последние костры, в сонном забвеньи прошлое едва воскресалось хриплой, обрывавшейся руганью... Свежело и серело в степи. Казак

спал, запрокинув в седло смертные ямы лица, его русые волосы путались с космами черной папахи. Исчезали звезды. В каторжных лиловых устах запеклась улыбка: был в ней сон легкой, счастливой земли, высоко светился и уходил мерцающий девический образ, — и тотчас все оборвалось рассветом, сбитым, растрепанным жаром и руганью последних промозглых сумерек. Полынь лежала изморосью. Старинное чувство боя! Оно поднималось ликующей волей, вместе с солнцем, блистая кривыми дымящимися клинками. Туман восходил огромным раскаленным шаром, тушил костры, поднимался гибелью, полынь уносило в отгоревшую пропасть звезд...

Ланге еще раз пережил прошлое. Исчезли костры, исчезли седла и лица, — он помнил лишь образ, тот самый, что снился в последнюю ночь, что играл на смертных улыбках, что пел и смеялся сквозь ругань и вставал над мирами спокойною лаской. Она проходила, совсем близкая, через все моря, пустыни и страны, в красной сказочной шапочке, с тем именем, которое звучало для него полной загадкой своей простоты и обыденности. Он мог бы назвать ее тысячами имен: она была в запахе сырой шумящей земли, сквозила в гибельной гари полыни, — и все, все говорило только об одном, о неизменном: вот, неопровержимо ясная, светлая, как день, проходит она через пропасти и темные фронтовые ночи, через все города и дороги мерцающей замоскворецкой улицей. Он узнает — это Пятницкая! Как невыносимо просты и знакомы ее серое с мехом пальто, ее обычные, сжатые у чемоданчика руки, ее ожидание у остановки трамвая. Она ждет, каблук к каблуку, закусив полные, нетерпеливые, совсем еще школьничьи губы. Она смотрит, не глядя ни на кого, как всегда прямо

уверенно, непоколебимо. Трамвай красным блеском и звоном бежит по Пятницкой...

Ланге вскочил, сбросил фуражку, — его охватило играющей бездонной пустотой света. Вся оглушительная бездна неба хлынула в его глаза. И там, в мигающих провалах, сияющая прелесть мира сразу вынесла занемевшие ночные тени. Он протер глаза, осмотрелся. Кругом, в сером лесном тумане стлались низкие летаргические долины. Землю ласково и золотисто клонило ко сну. Воздух, совсем в обмороке, озирал вокруг: недвижный лес, дальнее зеркало реки, кленовый лист, слетевший влюбленным, шуршащим признанием.

Он медленно побрел к дороге. У ручья, из темных кустов, перепутанных лиловыми ветками ежевики, из самых водяных, студеных и отдававших мокрой крапивой потемок столбом поднялся огромный ржаво-коричневый вальдшнеп. В голом лесу заныряли его острые крылья и низко повисшая длинноносая изумленная голова. Ланге замер, точно от удара, и бросился за ним. И тотчас другая птица с треском сорвалась с примятых, уложенных на земле листьев и потянулась за первой.

«Высыпка!» — блеснуло у Ланге, бессмысленно хватавшего ветки и задыхавшегося от бега.

Он остановился. По дороге, мягко вздрагивая, приближался шум тарантаса. В осиннике выставилась и, старательно прихрамывая, закачалась лошадиная морда, мелькали колеса, сплошь облепленные узорчатыми яркими листьями.

— Хоп! — крикнул Ланге, обмирая от счастливой теплоты, лесного шума колес, от всей этой нежной русской картины.

Объездчик ловко ударил вожжами лоснящуюся спину лошади, бойко выкатил на прямую дорогу, свистнул.

— Борис Сергеич! — по-охотничьи дружелюбно и радостно гаркнул он, сдерживая лошадь. — Вальшней вы спугнули?.. Птица вся на ключах, обязательно, я вам говорю... Охота!.. — восхищенно махнул он рукой и потянулся к подошедшему Ланге всем туловищем: — Закурить не хотите ли?

Лесник огладил косматую бороду, глаза его темнели степенной приязнью, совсем по-отцовски. Славно, заботно оглядел он улыбавшегося Ланге, снял кожаный картуз, достал яркокрасный кисет с вышивкой, развернул его закорузлыми черными руками.

Они помолчали, оба улыбаясь, не зная, что еще сказать приятного — старые лесные друзья. Ланге свернул папироску, заклеил ее слюной и, потянув разом затрещавшее косое пламя со спички, почувствовал томительное, острое удушье. Табак был самосадный, мореный, ожигавший, как чистый девяностоградусный спирт, и голубой дым его уносило, как легчайшую паутину в солнечном воздухе.

— Ну, бывайте здоровы! — решительно повернулся старик, нахлобучил картуз и, ловко подбоченясь, севши особенно молодо и непринужденно, тронул. — Письма я вам беспременно привезу, Борис Сергеич! Н-но... я т-тебя! — замахнулся он притворно грозно на лошадь. — Балуешь!

Тарантас дернуло, вынесло, лошадь, фыркая и нервно вздрагивая крупом, бойко пошла по мягкой и ровной дороге, колеса давили на листьях новую колею.

Объездчик обернулся еще раз. Ланге помахал ему фуражкой, его бледное лицо оживилось. С утра у него ныло и беспричинно замирало в груди.

— Чорт его знает что! — махнул он рукой, выплюнул липкую ядовитую цыгарку и пошел на кордон.

Сгорал незабвенный, почти летаргический день.

Мир избушки, ее низкие, оклеенные сплошь стены, окошки, дующие запахами разогревшегося сада, галлерея мертвых — «вечная память — вечная слава», кровать, сооруженная из лавок и прикрытая клетчатым пледом, — для него уже не существуют. Он пишет, бормоча отдельные фразы, изредка откидываясь на спинку расшатанного венского стула, заглядывая в окно и вскакивая с места.

— Оно еще не упало! В конце концов, это совершенно невозможно!

Он смотрит в сад пристально, не отрываясь: на вершине голой, колющей воздух терниями черных сучьев яблони, мучительно пригнув ветку, не может сорваться вниз огромное тугое яблоко. Оно висит, налившись упругим пьяным холодком, кажется — все мироздание зовет его вниз. Кругом сучья яблони тлеют угольно-синими огоньками. Воздух совсем райской яркости созерцает все это изумленно.

— И все-таки, о боже, оно сейчас упадет...

Ланге кидается к столу. Он пишет. Его мелкий ровный почерк покрывает бумагу безукоризненными линейками строк. Жадно затягиваясь папиросой, еле успевая за своими мыслями, он продолжает:

«...Иван-царевич, ты не можешь представить, как я изнемогаю: оно упорно не падает и совершенно, кажется, не собирается упасть. Эта история тянется более двух недель. Ты, конечно, получил посланные мною письма и знаешь мои взгляды относительно всей этой чертовщины на земле. Повидимому, надо только пожалеть оставшегося в дураках Ньютона. О, я теперь понимаю, почему старый Энгельс называл его «индуктивным ослом»... Он висит, этот прообраз счастливой созревшей земли, постигая все противоречия тяготений, все

равновесия, упиваясь своей сферичностью, — одним полетом он готов вступить в тайну завершенного. Мир смотрит на него своими голубыми спокойными глазами. Вот-вот оно должно сорваться, упасть, стукнуться в мягкие, ожидающие в сыром холодке листья. Кончено!

И душа моя вступила
В предназначенный ей круг.

Говорят (говорят!) — высшие ступени развития есть снятие противоречий. Однако я, мой добрый, грустный друг, попрежнему пребываю в неизвестности.

Представь, от Н. нет ни одной строчки. Ни малейшего намека на какое-нибудь внимание. Совершенно царственное молчание или — чертовская, какая-то самоуверенная жестокость!

Не знаю, быть может, так и нужно. Быть может, всякая юность должна быть жестокой. Пусть! За ее плечами стоит свежее утро эпохи, эти рань и заря, в которых заспанное теплое детство смотрит столь эгоистично и погруженно в себя...

Но все же в ней нет никакой доброты. Представь себе эту язычницу, этого прелестного варвара, с ее чемоданчиком, с ее восемнадцатилетним стажем, с голосом, высоким и стройным, как былинка. Вот он поднимается хрупким грудным удивлением, гнется, совершенно покоряет тебя задушевностью, и опять недоступно и далеко выгибается прямою и дерзкой юностью...

Предо мною, повидавшим достаточно всякой жизни, эти жестокие каблучки проходят каким-то чудом. Чудо, чудо! Необъяснимое, лирическое чудо! Непостижимо смотрит оно на меня значком общества «Динамо», глубочайшим презрением ко мне, как жалкому дилетанту, не постигшему плавания с правильным

дыханием; чудо смотрит на меня сдвинутыми строгими бровями и всегда деловым лицом, где лишь случайно, украдкой, можно поймать, — не иронизируй, ради христа, — нечто вроде розового облачка на месте затуманенной холодом щеки. Итак, действие первое — мы идем вместе, вокруг — неизвестный осенний вечер Москвы, уже заброшенный в памяти. Она идет прямо, никогда не оборачиваясь, не смотря по сторонам, как ходят эти гордые девушки в беретах, она идет, это новое чудо вселенной! Она любит ходить здесь и ходит постоянно лишь потому, что здесь живут «свои». Огромные вечерние фабрики стоят у реки, раскачивая серую ртутную воду решетками зыбких холодных огней. Их смутные трубы тают в московском зареве. Там вдали, у освещенных фонарями кремлевских стен, роняя быстрые огоньки, словно спасаясь от преследования, появляются, трогают жужжаньем воздух и убегают по набережной трамваи. Разговор ведется в полутонах, в некоторой не решенной еще наивности.

Любит ли она это место?

— Люблю? Ха-ха! — Она произносит часто это любимое восклицание: — Ненавижу! Вообще ненавижу все в Москве, кроме Арбата... Арбат! У меня была чудная комнатка, а теперь наш дом давно сломали и там выстроили почту...

— Почту? Да ведь это же почти рядом... Я так часто покупаю там марки. Но неужели почту?

Это звучит явной бессмысленностью.

Она отвечает совершенно спокойно:

— Ну да! Большую серую почту...

Полное молчание.

Она родилась, смеялась, бегала в том воздухе, в том доме, где царствует обширный приглушенный почтовый покой...

Арбат, почта! Я влюблен в этот край мансард старинного русского Парижа! Эти заросшие травой переулки, беспечная родина смешливых арбатских девчонок, подстриженных городских причесок, веселых башмаков и округлых ног, мелькающих под смех школьных мальчишечьих губ!

Веселая, почетная, незабываемая родина... Но ведь здесь тоже необычайно. Здесь, конечно, ей тоже должно нравиться. Она не может не любить всех этих геральдических сказочных стен, этих разбросанных шахматными фигурами башен, реки, несущей свою черную неприютность между зачарованных гранитных устоев Москвы!

Любит ли она этот вечер, полный неисчерпаемой гулкости, легкости, старинной, неуловимой пустоты и вечерних огней?

— Нет, нет! И хожу здесь только потому, что здесь живет наша команда. Жорж Медников... Вы его знаете?

Она вскидывает на меня изумленные, чуждые глаза:

— Нет?! Он взял первенство. И вообще — он прекрасный мальчик. Что? Вот пустяки!

И сразу нахмурившись, что-то вспомнив, она говорит:

— Вообще я не признаю и не верю в никакую любовь. Никакую!

— Надя, неужели совершенно? Совершенно?

— Совершенно.

Иван-царевич! Я чувствую, как заливает меня всего теплыми щекочущими токами. Какая новая истина! Я, признаться, не знал, что существуют такие девушки... Я просто смеюсь, меня заливает радостью и легкостью, мне становится весело как никогда.

Она смотрит на меня недоумевающе.

«Какая важная, важная!» — хочется крикнуть мне, схватить эти легкие, полноватые плечи, кружиться с ней до исступления и хохотать от беспредметного счастья.

Сейчас я пишу тебе с острым и жадным ощущением прошлого. Тот вечер так далек, его унесло вдаль, и где он сейчас? На какой планете? Под какими звездами? «Наденька, — хотелось сказать мне. — Это вовсе не смех и вовсе не беспричинная радость, но мне вспоминается снова далекое ощущение, и, конечно, вам никогда его не понять. Я слышу все то же, как тогда, лежа в туманной степи перед боем, много лет тому назад. И ночь, и не скоро рассвет, и тускло в тумане светят боевые костры. Это нечто совсем неуловимое и может показаться бессмысленным, — какая-то мелодия, звуки, слова. Может быть, это просто тема для лирического поэта. Но во всем этом присутствуете вы. Да, ночь пройдет, поднимется солнце и упадет для нас уже навсегда. И кто же вспомнит нас, диких, безыменных, зарытых прошлой убитой жизнью? И будет все то же — новый рассвет, дымная земля, солнце живых. Это старая история: так перед боем, сверкая оружьем, заброшенные в гибель вспоминают всю ночь снившуюся и неизвестную женщину... Наденька! Я смеюсь, но не над вами, конечно, я тоже не признаю никакую любовь...»

Я изредка смотрю на нее, беру ее под руку. Мы идем вместе, касаясь плечами, по длинной, совсем уже пустой улице. Круглая и серьезная теплота ее руки, мягкое предплечье проникают через перчатку сильной и властной нежностью. Под грубыми шерстинками пальто ее женский мир царствует над моими пальцами, поселяется в них и танцует в крови под самыми кончиками перчаток. О, это темное и зоркое зрение рук. Мы идем медленно и молчим,

— Ужасно неудобно! — говорит, освобождая руку. — Простите меня, но я люблю ходить просто так...

Она смотрит прямо мне в глаза черными блестящими зрачками; левый глаз у ней немного меньше правого, чуть прищурен.

Что на это можно сказать!

— Пожалуйста, пожалуйста!..

Я засовываю руки в карманы. Я молчу. Но мне хочется сказать ей что-то необычайно значительное, трагическое, быть может, даже обидное.

— Надя! — начинаю выдумывать я. — Мне скоро придется уехать из Москвы. И, вероятно, очень надолго.

Она переспрашивает совершенно равнодушно:

— В самом деле? И куда?

— Куда? Конечно, я могу поехать для своих занятий, требующих спокойствия и упорства, куда угодно... Но я поеду в лес, к своему приятелю-леснику, в осенний лес, где отлично просыпаться с рассветом и где нет ни телефонов, ни многочисленных друзей, ни женских глаз. Кроме того, мне необходима солидная теоретическая обработка своего жизненного опыта.

— И больше ничего?

Не находит ли она, что этого мало для полезной жизни и социально-полноценного поведения?

— А мне больше ничего и не нужно в данный отрезок времени. Мне надоела Москва. Я уезжаю послезавтра.

Так. Она думает о своем, она совершенно спокойна.

— Послезавтра? Боже, какой счастливец!

И вдруг оживляется, светлеет, наполняется шумом эта живая здоровая девушка.

— Вы знаете, — говорит она смеясь, и родинка на ее щеке становится дерзостной, — я все время

мечтаю удрать в Ленинград... Но это так трудно: меня не пускают дома, и вообще с нашими разве сговоришься. Ах, как чудно я провела бы время. У меня там столько подруг и знакомых...

Опять совершенно не в плане моих жизненных путей... Молчание.

Мы приближаемся к мосту, обдутому с реки грубым и сальным холодом воды. У противоположного берега, оборванного отвесным гранитом, колет глаза голубой электрический шар; шипя, галлюцинируют клубы тяжелого пара, бредя пыхтящими трубами, черными осатаневшими людьми, стропилами и балками. Там весь берег смутен от зеленоватого вечернего дыма.

Мы переходим через мост, минуя поворот блестящих, будто вычищенных о землю трамвайных рельс. Она идет рядом, как всегда глядя вперед, не оборачиваясь и не заботясь о том, что делается по сторонам. Ее рука невозвратна, — не может быть, что я держал ее когда-либо в своей... Да и вообще — чушь, чушь и чушь, и надо действительно уезжать. Теперь в самом деле приходится уезжать.

Мост сотрясается тревожной лихорадкой движения. Совсем рядом мотающимся световым трезвоном проносится трамвай. Он заставляет нас кинуться налево, — и тотчас упруго вскакивают с желтых наклоненных столбов света впереди два расплавленных пылающих солнца; они упираются в наши глаза мгновенным сияньем, рокотом гудка, вскриком, волчком приглушенного несущегося шума. Ослепительно-черные тени стремглав бросаются от нас длинноногими стрелами, и на миг я вижу яркий берет, чемоданчик у рук, задержавшиеся сзади, оттененные белым пламенем глаза. Мгновенно мигают мне: звездный муравейник города, сразу перелетевшее в реку стремительное небо,

вспыхнувшая и мерцающая, как на экране, брусчатка мостовой... «Надя!» — хочу крикнуть я, напрягая все тело, чтобы отпрыгнуть назад, приостановить секундную инерцию шага, задержать ее перед налетающим бешеным роком, и в то же мгновение чувствую, как ее рука с непонятной силой толкает мое тело вперед. Я двигаюсь в завертевшуюся, непроходимую темноту, — и сзади живым ледяным ветром, почти коснувшись спины, проносится повисшая на всех своих тормозах машина, и, дернувшись, застывает на месте, опахнув нас раздавленным дыханием.

Ее рука еще крепко держит мою, она властно ведет меня и не хочет остановиться, из машины что-то громко кричат вдогонку, но я ничего не слышу. Я не нахожу сил произнести хотя бы одно слово. С трудом я поворачиваю к ней свою голову.

Она просто подставляет моим глазам свое розовое лицо в теплых пушинках смеха, с блестящими широко открытыми глазами.

— Чудно! — говорит она проникновенно. — Мы пролетели под самым носом.

Героическая эпопея исчерпана. Она идет, опустив глаза, начинает напевать. Это у них всегда так, у этих девушек. Она вытанцовывает на ходу замысловатый чарльстон, отнюдь не смущаясь потрепанными башмаками, у ней собственные мысли. И наконец она выпускает мой локоть. Соучастничество, очевидно, закончено. И, очевидно, мы идем по ее улице и ей вовсе не хочется попадаться на глаза знакомым с пожилым юношей в таком тесном союзе. Скоро нужно будет сказать прощальные слова: она живет в старинном особняке с большими темными окнами. Поздно. Улица уходит в ночь нескончаемым булыжным коридором, вертя ночные пыланья фонарей.

Она останавливается.

— До свиданья, — говорит она совершенно обычно.

В эти слова входит все: вечер, темная зияющая калитка, решетка сырого, пахнущего погребом сада, протянутая мягкая, чуть припухлая рука.

— До свиданья...

Я спрашиваю: быть может, у нее найдется время написать мне несколько строк?

Она смотрит холодно и недоуменно:

— Зачем?

Царевич, старый друг! В самом деле, перед этим вопросом умирает всякая поэзия. Зачем? Она совершенно права. Да и мне вряд ли будет время писать свои длинные, никому не нужные письма. Мы стоим молча, чего-то ожидая. Она медленно раскачивается корпусом тела взад и вперед. Я начинаю поспешно прощаться: я тороплюсь, нужно собрать кое-какие вещи, завтра, быть может, я успею взять билет на дальний двухчасовой поезд.

Она поворачивается, медленно уходит.

— Вы опять курите? — говорит она уже из темноты двора.

— Прощайте!

Я возвращаюсь обратно к сквозняку, в речную озябшую ночь. Город уже пуст, тротуары гулко отвечают шагам. Мосты, башни и огни на реке уходят в зловещие времена Тауэра. Мне нужно попасть в западную часть города, пересечь Арбат и держаться линии Б. Почти пустой, нарядный светом и полированным блеском, трамвай несет меня по набережной, раскачиваясь из стороны в сторону. Встречные вагоны вдвигаются в нас мгновенным шумом и огнями, мигают человеческим потоком и снова проваливаются в темноту. Напротив меня садится дама в низко надвинутой шляпе, с яркими, окровавленными краской губами. Движение ва-

гона клонит ее в сторону, она деланно и страдальчески морщится и задерживается на мне снисходительно-оправдывающейся улыбкой. Это мне знакомо — и превосходно. Чорт знает что, мой дорогой Царевич! Всю жизнь везет на длинноносых и толстозадых...

У памятника Гоголю, отлакированного поднявшейся мелкой изморосью, я выхожу. Средневековые замки Арбата давно спят, лишь на углу бессонные инвалиды торгуют папиросами. Узкое ущелье улицы уходит вперед сырой, блистающей фонарями глубиною. Я знаю здесь каждое окошко, но каждый раз я открываю все новые и новые каменные лица. Арбатские дома встречают меня тайными дружескими улыбками.

Дорогие друзья! Я воспитан вами, вы заложили в меня неведомых химер, я чувствую в вас веселых, героических бардов нашего города. Закованные в каменные панцыри, вы ждете своего Густава Доре; все мое детство освещено столбами его величественного света, падающего из облаков, словно в средневековом храме; я пленен навеки его рыцарскими дубами, амбразурами его высоких башен, ущельями его замков, стоящих непроходимым мраком. Здравствуйте, веселые гезы! Погруженные в сон, вы храните жаркое дыхание, тревожные мысли нашего века. Храните! Храните! Я прохожу мимо вас и слышу, как стучит ребяческое сердце спящего в суровости города. Я приветствую вас — серые громады, вас — молчаливые каменные переулки, вас — новая серая почта, выстроенная как храм идолопоклонников. О, какое прямоугольное капище, уходящее в дождь; огромные стекла, ступени в испарине грязи, медные начищенные ручки, двери, легко уходящие вглубь, бесшумно, плавно, точно гроб в зале крематория! Здесь, в этом воздухе,

стоящем между паркетом зал и высокими, слабо освещенными потолками, где-то над конторками, полированными стеклами и шкафами, бродит ее детство и, привстав полно-обтянутыми чулочками на подоконник, сосет ириску. Вот оно пробегает по комнате и смотрит, не отрываясь, в окошко: там, в мире, все стены ослепли от мягкого белого света; на Арбате выпал снег; черная, веселая толпа освещает яркость и белизну тротуаров; зима дует, краснея, на кончики пальцев.

...Я вхожу в полуосвещенные, музейно-чистые почтовые покои. Мне нужно много марок. За глубокими вырезами окошек телеграфа степными кузнечиками цокают и щелкают аппараты Морзе... Это страшно знакомо: ночь пылает лампами-молниями, бумажная лента ползет далеко за полночь,— еще живая непропавшая штабная ночь. Мгновенье столь быстролетных канувших лет!

— Дюжину марок! — говорю я в полукруглое слуховое окошко даме — совсем седой гувернантке в пенсне, с припухшими веками, погруженными в папиросный дым.—Что? Пожалуйста, дюжину марок.

И я продолжаю свой немой задушевный разговор:

«Да, да, Наденька, понимаете ли вы, насколько это важно и значительно... Воспринимать все с той серьезностью и простотой, что принадлежали нам в отдаленном детстве. Но, знаете, у меня от этих лучей и потемок остались лишь какие-то пушистые зайцы и одна, загадочная как фант, песенка:

Эн, бен, трикотен,
Цукер, мукер, пумаден,
Ас, бас, трибабас,
И выходит—кислый квас.

Неправда ли, чертовски непонятно, совсем, совсем непостижимо! Я и сам не могу в этом разобраться».

Но что это, что это такое?! Седая гувернантка превратилась в злую оперную дуэнью. Она угрожающе шипит уже в самом окошке. Седые букли растут у нее из прически. Я никогда не видел таких круглых от негодования глаз.

— Молодой че-ловек! Это безобразие! — кричит она мне нависающим у самого уха шопотом. — Каких вам марок, наконец? Я вас спрашиваю — каких?

Все летит кувырком. Я плачу за марки; дуэнья, не глядя на меня, хлопает по дубовой доске серебряной сдачей. Я отхожу от окошка раздавленный, уничтоженный. Арбатская почта! Я спускался по ее ступенькам переполненный невозвратным, ощущая глухую тоску времени и пространства. На улице уже лил дождь, прыгая и мгновенно вырастая на тротуарах студеными водяными почками. Омерзительно щелкая копытами, тащился по мостовой извозчик. Пьяный, с непокрытой головой человек слонялся у стены, прижимая к себе мокрые и недоступные камни. Наконец он остановился, повис у стены, застыл. В универмаге на углу полусонно стояли на своих манекенах высокомерные серые костюмы, выпятив в ночь пустые двубортные груди. И тогда под дождем, мой милый друг, мой ненаглядный Царевич, поздней, промозглой ночью, ее прямая недосягаемая фигурка, знакомая шапочка, проходящая над городом и его временами, ее нежное, устремленное в себя спокойствие пронизали меня тем, что мы склонны называть страданием...»

Многоточие. Ланге дописал двенадцатую страницу. Он бросил ручку на стол, приподнялся, взъерошил волосы. Густые, сросшиеся его брови стали почти черными. Он встал. В окне за садом лес лучезарно светился охрой ровно выложенных на земле,

один к одному, продолговатых, почти табачных листьев. Солнце дрожало. Оранжевое дымчатое сияние радужно веяло в воздухе. Было время обеда.

«Сейчас должен приехать!» — подумал Ланге. Он закурил, прошелся по комнате. Что же, будут газеты, журналы, быть может, письма, но она, конечно, никогда не напишет ни одной строчки, ни отзвука на целый поток его корреспонденции...

Он вздохнул, собрал со стола окурки, бросил их в печку. Взгляд его скользнул по стене: темным блеском выгнутой тяжести запрокинулось на ремне его любимое старое ружье. Он взял в руки тяжелое, холодное, как лед, оружие: ружье разломилось в его руках широкими, уходящими перспективой стволами. Он закрыл ружье, вскинул его к плечу — и почувствовал тоску, томление... Заячья черная спина, стоящие, стремительно прыгающие уши и шорох, сорвавшийся с густой, заросшей как предание межи,— все это ударило ему в голову. Пора, пора! Ланге повесил ружье, дописал ровным обычным почерком письмо и заклеил конверт. Он улыбнулся, подчеркивая адрес: знакомое, сочувственное лицо друга встало бездомными теплыми глазами.

Точка. Он старательно пригладил письмо, встал. Ему показалось: приближались голоса, ближе, ближе — смолкло... Нет, то была полнейшая праведная тишина леса. Было так тихо, словно у самого уха кто-то взвел тугие, беспощадно щелкнувшие курки. Осень хранила каждый малейший звук. Тишина пела привычную песню. Вдруг у самой его двери столкнулись громкие голоса, оборвались... Он вскочил. Голоса были близко, светлый грудной смех перерезал удивленную тишину в сенях и сразу пронзил его сладким ужасом; в дверь ворвался пестовский низкий добродушный говор,

и вдруг весь мир раскрылся оживленным стуком, невероятным в своей близости мгновеньем.

— Сюда, барышня... Не упадите. Борис Сергеич!!.

Это был гром, тяжелый удар землетрясения.

Буйная тяжелая поступь, перемешав легкий, совсем не описуемый женский шаг тысячами скрипов, шорохов, дуновений, надвигалась к его каморке.

— Можно?

Голос прозвучал звонким, переломившимся дыханием.

И Ланге стремглав бросился навстречу.

3

Они столкнулись в дверях — и он сразу вскрикнул, пошатнулся. Все — бордовая шапочка, стемневший блеск ее глаз, сухие раскрывшиеся губы — ужаснули его своей правдивостью. Словно огромный сияющий блик мигнул в душевной парализованной темноте. Как пропасть падения, пронизал его неуловимый, ничем не постигаемый страх. Сопротивляясь, страстно желая кинуться к ней, защититься, он поднял руку...

— На-дя! — Вдруг вырвалось у него громко, ликующе. — Вы?!.

Она задержала дыхание, смотря на него во все глаза. Ее голос прозвучал, как всегда: нежной, спокойной, как лозинка, гибкостью:

— Как поживаете? — спросила она быстро. — Ну да, конечно, это я! — Она рассмеялась и уже уверенно, как дома, крикнула, задерживаясь на пороге: — Де-душка! Тащите мои пожитки! Здесь мне очень нравится, и, думаю, Борис Сергеич меня не прогонит... Да, — обратилась она к нему, — я получила от вас на станции целых три письма. Они у меня здесь... вот!

— Ах, да...

Ланге смотрел на нее с изумлением, бледно улыбаясь.

— Разорвите их.

— Нет, для чего же... Я очень люблю получать письма. — Она посмотрела вокруг: — Как у вас чудесно. Мне очень нравится.

— Я так рад, знаете...

Молчание. Объездчик, еле пролезая в дверь тугим и толстым полушубком, втащил фибровый чемодан. Надя бросилась ему помогать. Он, широко улыбаясь, снял кожаный картуз, обтер рукавом бороду и, радостно обводя ее круглым, упрятанным в косматые брови взглядом, шумно вздохнул.

— Борис Сергеич! Не ждал?! — голос его поднимался как всегда восторженно и весело. — Да что уж за дела такие! Вот уж так рад, что повстречал Надежду Михайловну, прямо не расскажу... — Он обмер, задохнулся. — Батюшки! Только приехал, а она, матушка, с поезда слазиет... Ну, прямо такая удача. Захватить бы мне утром пораней, в аккурат, ей, дорогой, на станции ночевать! — Он закачал головой: — Вы, Надежда Михайловна, завсегда старайтесь телеграмму подать... а то не дай бог! Вот Борис Сергеич, так тот...

Он говорил шумно и ласково, смешно сморкаясь, отвлекаясь в сторону воспоминаниями и бесконечными рассказами. Они возникали у него буквально на каждом шагу, на каждом просеке, при виде каждого дерева. То он оглядит исподлобья тропу: «В ерманскую, в самом шестнадцатом году, здесь вот убил лесничий лису. Такая славная лиса — девять четвертей»; то понюхает воздух: «Теперь, — скажет он, — весь сок под землю бежит, никакого воспарения не принимает»; то поднимет сухую уже, оброненную ветку: «Беспременно, стало быть, и лоси

тут» — и, закурив свою ядовитую, бьющую комара на лету трубку, скажет таинственно: «Зверь — он по земле ходит и землю всегда слушает!»

Его рассказы были неистощимы. Он говорил, и Надя слушала его с остановившимися глазами: она была коренной москвичкой, никуда не выезжала. Лесник рассказывал ей о куницах. Она сняла шапочку, вертела ее на пальце. Ланге искоса, затаенно оглядывал ее сухую, сверкающую короткими блестящими прядями прическу, розовый холодок лица, сильные, полноватые ноги. Его поразила ясная человеческая прелесть ее улыбки.

Надя улыбнулась, встала с хромого, податливого стула.

— Батюшки! — оборвал свой рассказ Пестов, комично переходя в неподдельную тревогу. — Заговорили барышню. Им с дороги покойствовать надо, а я тут про куниц развожу. Иду, иду! — замахал он руками. — Просим милости обедать, а насчет охоты, — он весь защетинился волосками своих улыбок, — чай, погостите у нас... поохотничать вместе.

— Конечно, — смутилась Надя, — обязательно.

Объездчик вышел, осторожно ступая сенями.

— Знаете, — обратился к девушке Ланге, — мне прямо невероятно. Я никогда не думал...

— А что вы думаете? — перебила его Надя. — Я приехала просто так... Совершенно! — Она посмотрела ему в лицо совсем холодно, гордо — и засмеялась. — Я так смешно ехала! Всем наврала, насилу отделалась... все хотели меня провожать. Я же уехала в Ленинград, понимаете? В Ленинград! Ха, — вот будет потеха, если узнают у нас дома...

Она посмотрела на Ланге и добавила быстро:

— Я получила от вас столько писем!

— Да?

— Есть очень милые. — Она сразу оживилась: — Мне страшно нравится ваш почерк, — не то что у меня: свой я ненавижу.

— Да?

— Держите мое пальто. — Она поправила волосы — Вид у меня, наверно, кошмарный!.. Вы какой-то странный. И — все курите. Да? Вы, говорят, дружите с поросенком! И называете его Борей!

Ланге пожал плечами, криво улыбнулся: ах, да... поросенок... Но откуда она об этом узнала? Ведь он не писал в письмах о подобной идиллии. В самом деле, он часто разговаривал о самых серьезных вещах с этой скотиной.

— Вы возьмете меня на охоту? Завтра же?

Он становится серьезным:

— Обязательно. Слушайте, Наденька, устраивайтесь, как хотите, приводите себя в порядок. Отдыхайте. Вы можете спать здесь на моей постели. Я устроюсь у Антипа Лексеича.

— Ничего подобного. Вы будете спать здесь же. Ха-ха! — произносит она свое восклицание. — У меня чудное, чудное настроение! Мне здесь очень нравится — и ваш дед, и лес, и все...

— Ну вот, и очень хорошо...

Ланге взглянул еще раз на ее лицо, вышел. Она стояла перед ним неуловимая, далекая, как воздух, спрятанный под тончайшей четкостью облетающего, чуть стареющего дня. Он вышел к липе, обернулся. Надя смотрела в окно, высунувши золотистую прическу: перед ней был сад, леса, заколдованная солнцем тишина лугов. Она засмеялась: Ланге был так длинен и неуклюж в своих болотных сапогах; он смотрит, уходит... Ей странно, смешно, щекотно. Какой он все-таки непонятный, а иногда и чужой. И, в сущности говоря, для чего она при-

ехала? Ланге, Ланге! Она спрыгнула со стола, завертелась на каблуках, осмотрела стены с их картинками, не обратила на них никакого внимания, нашла на столе письмо. Москва; адресат ей незнаком; но какое толстое, большое письмо! Она никогда не получала таких. Она поднимает письмо, дует на него, о чем-то думает, улыбается... Трай-та, ти-та, там! Она бросила письмо, подошла к шкафчику, раскрыла дверцы, внимательно осмотрела чашки, стаканы, сахарницу; в сахарнице были шоколадные конфеты; она взяла самую большую, засмеялась, съела. Что это? Ланге пьет коньяк? Целых три бутылки. Странно. Она задумалась, стала раскачивать дверцы шкафчика, наклонив теплую веселую голову. Ей надо переодеться, помыться, причесаться Она прыгнула, еще раз засмеялась, подбежала к запрокинутому на стене ружью, потрогала синие холодные стволы, — и начала стаскивать через голову пеструю вязаную кофточку.

4

День падал в бледные холодеющие сумерки. Черный лес закоченел, совсем отодвинулся в заплывшую лиловую даль. В дубовых кустах туманно заквохтали и перелетели дрозды. Стояла тишь. Воздух вырубал стеклянным топором каждый голос, шорох, мгновение звуков. Надышаться прозрачностью, набегаться по живому листопадному шуму, крикнуть в лесу, наесться холодной, как лед, кровавой рябины; вдруг услышать голоса на кордоне, отдаленный лай; засмеяться на пещерный, погибающий вопль рога.

...Жизнь, жизнь! Она вездесуща, она везде, она касается своим дыханьем щек и груди. Вот она стоит и зовет, вот она нагибается, бежит и смеется...

Жизнь! На всю затаенную тишиной долину лесов вдруг пролетит оплывающий медной тоской гончий завывающий вопль. Еще. Тишина. Ветер. Голоса. И — голоса идут по лесу, голоса оборачиваются и стихают.

— Беспременно, я вам говорю, Борис Сергеевич! — говорит кто-то неуклюжий и большой, продираясь сквозь кусты.

И вдруг совсем рядом, другим уже голосом, с ветром и шорохом, бормочет, говорит лес:

— Конечно, конечно. Мы так и сделаем. Но куда же она запропастилась?

Позеленевший латунный рог вновь поднимает алчущую далей бурю. Лес отдает голоса, молчит. Ветер несет звуки, шарит в листьях, бормочет у самой земли.

— Борька, Борька, Борька... Ишь, шельмец!— Голос Пестова из осторожного, подманивающего переходит в быстрое ласкающее: — Борь, Борь, Борь, — говорит он и смеется.

Надя видит, как они стоят в лесу и нагибаются. Длинный, лопоухий и насквозь розовый поросенок ложится у их ног, поднимая кверху короткие точеные копытца. На его перламутровой щетине, через весь нежный и застенчивый бок, выведены лиловым огромные буквы: Б о р я.

Лес четко передает хохот, отдаленные слова, заглушенные быстрые шаги.

...Жизнь, жизнь! Она касается горячим, нежным дыханьем щек и груди, тянет целовать воспаленные листья, как письма, слетающие с раздетых деревьев... Счастье!

Надя расхохоталась, не выдержала и бросилась к ним навстречу. Она успела обежать пруд, была у реки, ездила на лодке. Ее грудной смех стал еще прозрачней. Она вся была — холодок, вечер, она

вся была тонкий запах лесов. Она подбежала, взяла их под руки и, прижавшись, выгнувшись, таща их вперед, стала рассказывать. Огромный объездчик шел, конфузливо согнув напряженную руку. От лица его, полного лесного добродушия, исходила серьезная торжественность: проворная крепкая рука, державшая его полушубок, была необычна и ставила втупик. Надя рассказывала беззаботно, весело. Она часто смеялась, — в ее голосе носились стрижи, веял золотистый вечерний воздух.

— Борис Сергеевич, вы на меня не сердитесь? — говорила она. — За поросенка? Ведь это я написала...

— Ради бога! Это такие пустяки.

— Нет, серьезно? Ведь вас не разберешь...

Она помолчала.

— Я видела ваше яблоко... мне очень хотелось подарить его вам, я начала трясти, но оно не падает. Да, — еще забыла привезти свои новые фотографии.

Ланге остановился.

— Ничего не поделаешь, — сказал он без притворства печально. — А может быть, это к лучшему. Вы не должны и не можете хорошо выходить на фотографии. Антип Лексеевич, — обратился он к объездчику, — посмотрите, разве она может получиться: у ней лицо, как ручей. В самом деле, ваше лицо бежит, как ручей под солнцем!

Он смотрел прямо в глаза девушки, — они смотрели на него беззаботной правотой жизни.

— Это вовсе не пустяки, — говорил он жестикулируя. — И было бы совершенно ужасно, если бы вы хорошо выходили. И вы не должны огорчаться, что это так. Поверьте мне — так называемые фотогеничные лица принадлежат людям, не обладающим богатым ассортиментом душевной жизни. Надо

сдать в архив все старые буржуазные представления о красивом женском лице. Выставки фотографов — это ужасные ярмарки пошлости.

Он рассказал об одной актрисе. Он разгромил с десяток кинозвезд. А девушка слушала и улыбалась.

— Первое место, — говорил он, — принадлежит женщине не прекрасной, а милой: так сказал один из тонких русских поэтов. Да, да, — размахивал он руками и обращался к объездчику, стоявшему с мрачным и напряженным лицом. — У меня есть несколько заповедей, отличных заповедей: каких женщин можно любить и на каких нужно и должно жениться...

— Господи, ну на каких же? Я, например, не люблю, ненавижу свое лицо.

— Прежде всего на таких, которые совершенно не выходят на фотографии. Во-вторых... и это очень важно, вдумайтесь: нужно любить таких, которых никак нельзя представить через пять, через семь, через пятнадцать лет. Больше всего бойтесь ощущения рассказанности... это совершенно ужасно, безнадежно... Ах, Надя, как печально ощущать все эти будущие отвисающие подбородки, красную мертвенность глаз, все эти моськины щечки, бородавки, утренние тяжелые кашли, узловатые, брюзгливо оплывающие ноги... Нужно искать женщину, в которой нет и намека на это ужасное неизбежное чувство — «завтра». Это — вторая заповедь. Третья, — но она принадлежит уже моей матери, которая говорила: «Целуй только ту женщину, которую тебе не стыдно привести в круг самых дорогих друзей»...

Надя задумалась. И вдруг быстро, резко переспросила:

— Ланге... ну, а вы, сами... ну, вы... любили хотя бы одну женщину?

Она взглянула ему прямо в глаза.

— Я?.. — он растерялся, ему стало душно.— Могу вам сказать, — начал он задушевно, с мягкой, поразившей ее душевной пристальностью, — могу вам сказать, что самую «милую» женщину я нашел в книжке, которую вы, конечно, читали... Я вам могу прочесть несколько строк.

Он освободил руку, вытащил из кармана темно-зеленой куртки клеенчатую книжку, быстро ее перелистал.

Надя, крепко держа под руку огромного, косматого лесника, ждала.

— Вот... Слушайте. — Он начал читать: — «...таким образом, всегда мне нужно что-нибудь такое, что захватило бы меня с головой, как бы мало ни подобало это солидной особе, от которой, — на ее беду, — всегда ожидают чего-то умного. Но мне ведь нужно иметь кого-нибудь, кто поверил бы мне, что я лишь по ошибке попала в водоворот мировой истории и, в сущности, рождена пасти гусей...»— Ланге захлопнул книжку: — Все!

Молчанье.

Они пошли, медленно тревожа шумные вороха листьев.

Кордон был уже рядом.

— Кто же это написал? — спросила она наконец, хмуря брови и перекусывая кончик желтой былинки..

— Она никогда не выходила на фотографиях,— сказал он, засовывая в боковой карман записную книжку. — Это написала Роза Люксембург. — Он задумался и добавил хмуро: — Ах, Надя, мы все, собственно, рождены пасти гусей!

На кордоне уже вздули желтые, теплые огни. Совсем завечерело. В воздухе чувствовалось, как кругом, не шевелясь, вытянувшись напряженными

ветками и стволами, стоит туманное море лесов. Землю несло в железную тишину ночи.

— Ну вот, отыскались, стало быть, — хрипло и весело, наконец, оборвался в своем молчании объездчик, страдальчески освобождая локоть из Надиной руки.

Он ловко перекинул через плечо латунный измятый рог, расправил грудь и, уже веселый как всегда, бросился закрывать сарай.

— Надежда Михайловна! — крикнул он из темноты. — Попьем чайку и спокойствовать — до завтрева. Заходите, не стесняйтесь!

До самого позднего вечера просидели они под низкой керосиновой лампой, за большим свистящим самоваром. В избе у объездчика было чисто, стоял опрятный, бездетный покой старости. Пестовы доживали свой век согласно и дружно, протянув в лесу длинные сорок лет жизни. Было хорошо глядеть на их суровые запавшие лица и в полусне — от осеннего воздуха, жара избушки, горячего, пахнувшего яблоками чая — слушать как бы совсем дальние старинные разговоры, сливающиеся в уютный лесной шум. Так чувствовала Надя. Окошки в избе бойко, матово запотели. Надины щеки горели необычно, на глаза набегали огромные, оплывающие сиянием блики. Ее укачивало — то шумом тарантаса, то самоварным тонким пением, то близкими, а может быть, и далекими голосами. Ее мир наполнялся неведомыми звуками и ощущениями.

Все остальное прошло перед ней свежим пахучим холодком новизны.

Когда они вышли в ночь, небо как будто уже потеряло свои изначальные магнитные силы. Бездонная бледность звезд мерцала отдаленно и неясно. Пахло туманом, близким морозом. Она крепко засунула руки в карманы модного пальто. Ото-

всюду наступала тьма. Их темная избушка едва выступала, заброшенная в какой-то древний, таинственный лес. Они с трудом отыскали крыльцо, тугую непослушную дверь с железной скобкой, вошли в сени. В темноте Ланге чиркнул спичкой, на них бросились красные испуганные стены и отступились. В сенях ее обдало свежестью, сразу наполнившей весь ее мир детской и жуткой радостью. Она почувствовала нервную дрожь, всю новизну своего положения и вдруг подумала: «Ах, если бы он...» Но она ужаснулась своим глупостям.

Каморка была радостно, до белого румянца печки, натоплена. Пахло сушеным сеном. Его молодой щемящий запах приносил нагретые травки, ромашки, легкое жужжанье. Пахло лугами, какими-то веснушками земли. Надя осмотрелась, сбросила пальто, радостно оглянулась на Ланге: она так рада — ему приготовили мягкую постель у самой стены, ему будет хорошо; вообще все пока очень славно. Почему он так долго возится с лампой? Она шумно вздохнула и села на скрипнувший венский стул, опустив руки. Ланге зажег лампу и, не раздеваясь, смотрел на нее в упор.

— Почему вы так смотрите? — спросила она со своей милой улыбкой и вдруг сладко, непритворно зевнула. — Мне так хорошо! Вы знаете, я лягу, ну а вы что-нибудь расскажете... Нет, нет! мне не хочется спать.

— Быть может, вы выпьете рюмку коньяку?

Он поставил рыжую, словно освещенную солнцем бутылку, рюмку, стакан.

— Нет, нет: я не пью...

Он налил в стакан, выпил, закупорил бутылку.

— Пойду угощу Лексеича, ну а вы раздевайтесь, ложитесь. Я постучусь.

Не одевая куртки, он вышел, даже не оглянувшись, бережно затворил дверь. Шаги его удалялись, смолкли, оборвались. Тишина зазвенела, запела, тихонько закипая горелкой пылающей лампы.

Надя быстро разделась и легла. Постель показалась ей необыкновенно свежей и мягкой. Она откинулась на подушку, задумалась. Печка наносила на нее горячие, атласные волны. Нечего сказать! Она вместе с Ланге, вдвоем, где-то в лесу! На мгновенье ее ужаснула вся эта история. Ночь; томящий запах леса, тоскливая сила пьяного острого воздуха, сено; борода лесника; уносящая ее вдаль летаргическая сила осенних пространств; все это кружилось у нее в голове, в сердце, во всем теле властным горячим пламенем. Какая странная, длинная, непонятная история! Она припомнила последние вечера, перечитывание его писем, их ровные, легкие, красивые строки... Нет, нет! Сегодня она окончательно убедилась, поняла... Ланге? Никогда! Никогда!.. «Они — все такие». Эта чудовищная мысль оскорбила ее смутные потаенные чувства. Как ей не стыдно! Он такой милый, правдивый, внимательный. Она стала улыбаться самой себе, части самой себя, лукавя со своей изменяющей душой. Ей было приятно, нежно, обольстительно. И все-таки: «Нет, нет, нет — никогда!» С торжеством она чувствовала твердое, окончательное решение.

Она прилегла поудобней, вытянулась так, что лицо ее закрыла большая прохладная тень от шкафчика. Окошко зазвенело от стука, смутный подземный голос Ланге донесло из-за стекла, из темного сада.

— Конечно, конечно, можно!

Она слышала, как он обошел дом, искал дверь, загремел половицей.

— Надя, вы не спите?

— Нет. Что вы!

Он поставил на стол почти пустую бутылку, откинул назад волосы. Лица ее он не видел — оно было закрыто тенью. Он подошел к ружью, снял его с крючка, положил на стол.

— Какая глухая ночь, — приглушенно звучал его голос. — Простите меня, я протру ружье. Завтра мы выйдем чуть свет... Нам нужно переправиться на горы. И мы пойдем далеко, в наши темные, пустые поля. Но какая странная ночь, если бы вы знали, какая грустная ночь...

Она не ответила, погруженная в новые, набегающие ощущения. «Неужели он пьян?» Эта тревожная мысль заставила ее вздрогнуть. «Не может быть!» Лицо Ланге смутно белело над столом. Она видела, как он разобрал ружье, любовно протер его тряпкой; длинная прядь волос свисала с его выпуклого лба, он над чем-то возился...

В избушке стояла чистая, заброшенная тишина. Надя лежала, смотря в потолок: перед ней мягким косым прибоем бежали бесконечные волны. И голос Ланге откликнулся ей уже издалека, словно из темного опавшего леса; он говорил, говорил; ей показалось, что она протянула ему руки; звук его голоса качался как маятник: раз-раз, раз-раз...

— ...и всегда, в прошлом, в настоящем, — говорил он куда-то в пустоту, тихонько гладя ружье, — слышите... всегда... возникали именно они. Далеко, темной ночью, туманом, каким-то небывалым смеющимся детством. Вот я сплю, дремлю, весь старинный, закрытый белоснежным счастливым мраком. Где вы были тогда, где дышали, мой далекий, неузнанный друг? Не знаю, не знаю. Но мне и тогда, в той непогоде, мерещилось все то же: и поле, и ночь, и дорожный туман, и одни во всем мире под вьюгой пушистые теплые зайцы... Ах, казалось,

тепло, тепло им под снежным степным одеялом. Мир натоплен до звезд, и вьюга завывает не здесь: там, над всем домиком вселенной...

Он выпил еще коньяку, захлебнулся.

— Вьюга и зайцы, зайцы — старинные пушинки мира!

Ланге откинулся на спинку стула, голова его никла, он говорил все тише и тише; казалось, голос его опустился к самому сердцу, до слез.

— Наденька,— бормотал он,— непроглядная, слышите...

Быть может, он ожидал чуда. Невыносимое желание взять ее руку, отдать ей прожигающий его бред заставили подняться, приблизиться, говорить еще тише и неуловимей. Он слышал, как дышала она, ему казалось — ее уставшие внимательные руки разговаривают с ним и отвечают ему теплым благодарным согласием. Переполненный чувством признания, он хотел позвать ее, окликнуть...

— Надя! — прошептал он едва слышно, как он мог прошептать лишь несколько раз в жизни.

Ему никто не ответил. Он подошел совсем близко, взглянул — и сразу отшатнулся, ударенный в самое сердце. Девушка беззаботно спала, сомкнув длинные влажные ресницы, спала так, как спят только в позднем, охотничьем лесу.

5

Это был последний день солнечной, светлой земли. Всю ночь, оцепенев под инеем, ждали рассвета— последние птицы, листы, промерзшие ягоды, одинокое яблоко, вымытое звездами мерцавшего сада. В каморке Ланге едва тикали часики, их тончайший стук долетал до звезд. Было тихо. Земля бредила расставаньем, седым озябшим туманом; порою не-

ясный гул просыпался в ее темных недрах,— сладко очнувшись, потягивалась, томилась и зябла ее тихая долина, — и снова падала в сон. Шло новолунье — холодное таинство планет. И каждая былинка обмирала под вещим заячьим дыханьем.

Медленно сходила голая, воспаленная ночь. Из вечности грустно и хрипло пропел петух. Смолк. Чуть зашелестел, прозвенел, — быть может, звездами? — мимолетный ветер жизни. Над лесами вздохнуло, гулко треснуло веткой, оборвалось, чуть стало брезжить. И деревья, прощаясь с последними красными листьями, провожали этих милых детей за моря...

Иссякала ночь расставанья.

Ланге проснулся, вскочил, почувствовал тесноту; он спал не раздеваясъ; тихонько, чуть грохоча сапогами, подошел к окну. Уже серело. Спутанный сумрак висел над садом; в позеленевшем небе трубили охотничьи рога — звезды прозрачно выморозило. Она — спала. Ему казалось, что от ее постели шел предутренний сухой жар, качавший комнату.

Этот вчерашний вечер, коньяк, его петушиные самонадеянные разговоры!

Он вздрогнул и оскорбленно поморщился: вся его горькая чаша опрокинулась в груди. К чорту! Теперь все кончилось. У него осталось столь много... и эти поля, поля... Потянувшись, он подавил зевоту. Его бросило в холодок тоски предрассветных сумерек.

В сумерках все звало охоту. Уже в тишине с легким звоном пели подружейные поля, в их тонкий голос врывался улетающий стон: то запевало дуло, заунывно раздувая мотив скитальческой удали... Он схватил фуражку, мигом одел куртку, патронташ и вдруг, уже спокойно и грубо стуча сапогами, подошел к девушке.

Был сон. Щекотал его любовную близкую мглу запах сушеной солнечной былинки. Пахло сеном, скошенным лугом, пригорком. Снились старой заброшенной колее полевые зори, июльское теплое колесо...

Ее вырвало из сна: кто-то тряс ее руку, смеялся, говорил: «Надя! Соня! Вставайте!..» Она спрятала руку, хотела вернуться в сон, побежать к нагретой, сухой траве. Ее не пустили.

Она открыла глаза, как в Москве, зевнула, потянулась глазами к светлой, с темным крестом рамы занавеси, — и сразу вспомнила... Москвы не было! Был темный, новый, вот-вот родившийся, незнакомый день. Окно серело холодной жесткостью.

Она не узнала Ланге: он показался громадным в своих мужественных ремнях, опоясавших грудь; он уходил куда-то вверх, его лицо вспыхивало под угольком папиросы. Он стал неузнаваем после вчерашнего смутного и непонятного вечера.

— Неужели нужно... так рано? — спросила она, зевая, голосом, полным сонной теплоты, и приподнялась к окну; там чернела дикая лесная ночь.— Как темно и страшно!

Он смотрел сосредоточенно.

— Быть может, зажечь лампу? Вставать нужно немедленно. Слушайте, Наденька, — сказал он, и она заметила, как сразу охрип его голос. — Я вчера говорил вам много всякой ерунды. Я просто выпил. Простите меня. Больше этого не повторится.

— Я ничего не помню, — ласково ответила девушка. — Мне так хотелось спать, ей-богу, я ничего не помню!

— Очень хорошо. Одевайте самые простые чулки и свитер. А я очень рад. Вам даются пять минут... Есть?

Она смотрела из темноты живыми блестящими глазами. Он снял сумку, висевшую на стене, при-

вычно перекинул за плечи ружье. Она сидела в прежней позе, положив подбородок на коленки. Ланге ее удивлял: его ремни, грубые спокойные шаги, уверенность, с которой он собирался, военная фуражка и особый тон голоса — все было необычно. Она задумалась. Ледяная мгла ночи, стоящая за окнами, сделала ее беззащитной: она чувствовала глухую бездну, прижимавшую их теплый затерянный уголок своими черными пространствами.

Ланге вышел в темноту, хлопнул дверью. От лампы в окнах стало еще темнее и бездоннее. Она вскочила, стала лихорадочно одевать чулки, спрыгнула с кровати. Полусонное утро теплело над ее обтянутыми чулками полной кружевной белизной. Ах-ах! Она положила руки на бедра, покачала головой, уши ее горели от жаркой сухости волос. Странно! Она задумалась, запела, побежала к чемодану.

На кордоне уже сонно клокотал самовар. В розовом дымящем заморозке занималась ранняя заря. Тепло в избе казалось, после сумрака ночи, спящим, пригревшимся от собственного дыхания. Ланге сидел в фуражке, курил, ждал и уже волновался: «Пожалуй, и верно — последний раз перед снегом. Но какой день! Русаки будут лежать сторожко, срываться молнией, а стрельба просто с находа — самая дальняя и трудная. Да, сейчас весь русак уже в поле, на межах, по оврагам». Он любил эту бродяжью, в сущности говоря, рассчитанную только на знание повадки зверя охоту...

— Пожалуй, к снегу... Что-то похолодало!

— Пожалуй, — объездчик возился у печки с обувкой. — Вон землю как обручом стянуло... Хоть и замереки!

Ланге лениво вытянул ноги, чуть сгорбился. Светало скучно и зябко. Пришла Надя — в светлой фуфайке, теплой шапочке, и посмотрела на него

совсем кротко: она опоздала по причинам уважительным... Пили чай. Собственноручно она налила ему стакан, подошла и поправила воротник куртки. Они почти не говорили. Была особая многозначительность в коротких обрывистых фразах, в молчаливой торопливости, в полушопоте, которым передавались непонятные ей намеки о каких-то «лежках», «сметках», «порошах»... Она чувствовала за всем этим смысл этого рассвета, еще живой, непропавшей ночи, будущей дальней дороги и совсем неведомых ей темных, неприютных полей. В избе еще шевелился сумрак, тараканы шуршали за лубочными картинами.

Они вышли на волю, и сразу ее охватило металлическим осенним холодом. Воздух казался серым, тайным, поджидающим из-за угла. Ланге скрипнул калиткой, строго цыкнул на собаку, опахнувшую Надю предзимней сухой теплотой, горячим дыханием. Собака сразу виновато отстала. Они быстро спустились на холодные и смутные луга, прошли мимо стога, еще окутанного ночью, и на ровной выбитой тропинке она сразу ощутила всю дикую, запыхавшуюся прелесть этой безмолвной, еле поспевающей за биением сердца ходьбы. Впереди смутно нависал горный берег реки, зевая темными, еще ночными оврагами. Она увидала, как идет осенняя, поднимавшая пар вода, согревая водяным дыханьем свои бегущие железные глубины. Сзади вся лесная долина уже подымалась тысячами дымков; она увидала их домик, затерянный в сером кустарнике: это было далеко, казалось, невозвратно. Всюду, куда она только ни смотрела, миллионы запахов, туманов, сыростей поднимали к ней холодные, пьянящие пары; в кустах шиповника возились осторожные шорохи, неясные зовы; вода неслась мимо, говорила на странном, неуловимом

языке; она увидала, как смутные и дрожащие камни пили студеный, тянущий вниз дрожание поверхности полумрак; подымался рассвет; она чувствовала, что воздух начинает тянуть ее властными исступленными пространствами; все обращалось к ней, все воспаленными тайными устами искало ее глаз, к которым, — она чувствовала, почти осязала, — оранжевые рябиновые кисти припадали пылающим жаром. Невыразимо сладко было отдаваться веселым бегущим шагам, дыханью, переполнявшему грудь, своим глазам, которые звало и упрашивало небо!

Река проходила вниз прозрачной невозмутимостью.

Ланге вытащил, выворотил из кустов низкую долбленую лодку, ушедшую на воду с мягким шуршаньем. Надя стояла неподвижно, покусывая горькую веточку: он торопился, почти забыл о ее существовании.

— Садитесь, — обернулся он к ней и, не спрашивая, снял потянувшее гирей ружье, — только не уронить!

Он помог ей пробраться на середину лодки, сесть, устроиться. Зайдя по колено в самую темную, ледяную воду, он оттолкнулся, прыгнул и, ловко выгребая веслом и выкладывая журчащую зеленую воду, вывел ботник на течение.

Он греб ровно и опытно.

— Надя, — он расплылся в закрасневшейся, мальчишеской улыбке, — так ли гребут у вас в Динамо? Держитесь! Раз...

Ей не хотелось говорить и думать. Московские воспоминания мелькнули слабо. Вспомнился Жорж Медников с невозмутимым пробором над матово самоуверенным лицом. Она нахмурилась: с ней происходило совсем непонятное.

Вода бежала кругом мягким журчаньем, — и берег наплыл сразу, задавил свет зари, косо загородив даль неприступной глиной, ветками и оврагом. От него дохнуло мертвенным, застоявшимся холодом. Они выскочили на берег. Утро уже раскрыло ночные тайны, жертвенный его дым подымался к древнему, в ледяных ослепительных иглах, солнцу.

Это был последний день осени на пустой, освещенной земле. Громадный ее полукруг подымался в зареве зажженных, плывущих в тумане лесов. Впереди — овраг, заваленный листьями, бормотал спросонку студеными погремушками ручья. Тонко и грустно пахло здесь сухими ветками, ягодами, грибами и мохнатым бурьяном. Стеклянная изморозь травы сжимала ноги одиноким, тоскливым холодом. В овраге, подымавшемся кверху мелькающей стеной нанизанного часто осинника, настоялась могильная, слепая тишина. Дно оврага густо заиндевело можжушником.

Надя еле поспевала за охотником, засунув по привычке рукав в рукав, спотыкаясь о корни, глотая ключевую воду воздуха. Из темного, как склеп, дымящего прелой пахучей сыростью куста мягким округлым взмахом пахнула на них огромная серая птица и бесшумно замахала в кустах. Девушка вскрикнула.

— Сова! — остановился Ланге. — Большая. Вы не устали? — спросил он ее. Скоро выйдем! Вы испугались? Пустяки.

Он зарядил ружье, взял его под локоть:

— Ну... пойдемте. Нам нужно в поля...

На ветках стали нависать белые пустые капли, осыпаясь приятной колючей свежестью. Надя совсем задохнулась, подымаясь по крутому пахучему лесу, — ей стало сразу жарко, возбужденно-весело. Кругом с каждой минутой становилось совсем бес-

предельно, торжественно. Громадная сила жизни тянула вдаль поголубевшее небо. Когда они вышли на гору, она чуть не вскрикнула: размахом молнии пролетел необъятный лесной горизонт; стояло полное солнце, пригревая каждую былинку; мир, как ребенок, вышел погулять на это последнее, гладившее кожу, ровное тепло. Повсюду, куда только хватал глаз, от лесов бежали ровными квадратами щетинистые, помятые поля в густых, обросших туманами межах; кругом березовые перелески мылись под ясным утренним сияньем; отовсюду распахивались чистые, ненаглядные окошки вселенной, — в них все уже было выметено и прибрано к зиме; вдали черный, опавший и застекленный лес говорил о веселых улетевших стаях...

— Боже, как чудно! — вырвалось у нее.

Она невольно схватила его за руку. Они стояли друг возле друга, безмолвные, полные далекого, полутемного чувства. Светлейшая тишина парила над ними, река полная света, остановилась в кустах и песках. И он услышал вдали, из дальних лесных прогалин, такое прозрачное, такое удивительное воркование.

Конечно, он попросил девушку быть внимательной. И она слушала звуки лесов, как школьница слушает лекцию о заманчивых и непонятных вещах.

Это была последняя прощальная нежность осеннего мира. Далеко, страстно токовал в лесу черный тетерев. Золотые, наивные звуки умирали в воздухе, обрываясь лепетом неведомого, прыгающего по лесным камешкам ручья. У-ру-ру-ру-ру, — звала кого-то осторожная черная птица. Потом смолкла. Он стоял покорно возле нее, такой кроткой. Она не знала, почему это ей вздумалось взять его за руку.

А солнце поднималось.

Поля бежали, бежали вперед.

6

Ломко, звонко хрустели под их ногами соломенные щетки полей, заиндевевшие мохнатым туманным серебром. Жнивья дышали тяжелым сонным паром, полные заморозков и ясного холодного солнца. В инее недвижно стояли высокие репейники — молчаливое царство былинок, полыни, засохших татарников, веселых розовых цветов; заглохшей колеей межи клонились эти полевые заросли, уже подтаивавшие поздним прозрачным утром.

В глубокие глиняные овраги стекали нестерпимо-зеленые реки озими. На солнце дымился совсем постаревший, увядающий в сырости холод. Все ждало снегов: межа, продрогшая последней одинокой ночью, коноплянник у растерявшегося, недоуменного перелеска, отъезжий сумрак хмурых полей...

Очарованные поля! Их проводила в зиму последняя ночь звездным, близким дыханьем. Русачьи сметки в эту ночь были безумны, запутанны. Лунное тяготение тревожно гнало древние токи крови, тянуло звериный шаг слепой жутью первого снега: заматеревшая шерсть светлела, густела от осенних звезд, и заячий шаг вдруг ослепительно бросало в прыжки; его гнало неуловимым шорохом через поля, в глубокие овраги, в кривые темные промоины ручьев, в самые глухие, заповедные заросли полей, где каждая былинка знала все мироздание...

Была глухая тревога опустенья. За ночь на озимь опустились в последний раз гуси. Они летели в Египет, в синий туман морей. Всю ночь стыло в морозе их сытое, теплое гоготанье. Самой темной ранью птицы грозно поднялись в воздух, — и поле слышало долго их стройный треугольный шум. Когда взошло солнце, поле уснуло, забилось заячьим дыханием в заросшую тишину межей и дремало

в ожидании снежной теплоты. Все слышали они — древние поля, родина ромашек, репейников, русачьих горячих прыжков. И они услышали вдруг, за много сот длинных, медленных шагов — ломкое, осторожное, крадущееся напряжение; поле вздрагивало, морозно трещало; это надвигались неотступающие человеческие шаги.

Они шли. Каждая соломка подслушивала их тяжелую, уже уставшую поступь.

В этот день все в мире знало мучительную магнитную истому земли. В каждой пушинке пробегали сладкие, зовущие токи восстаний. То — звали новые страны, то — летели дальние стройные стаи, поднималось священное оружие, сплетались любовные руки, то — в гулких, сторожких лесах бродили охотники. И все тянуло в дальние, неведомые миры.

И они, эти наследники нового тревожного города, проходившие в мертвом ожидании полей, не знали, что новолуние уносит сегодня последний подвиг листьев, гусиный полет, бродяжий человеческий шаг. Они бродили ненасытно, проходя через овраги, ловя каждое шуршанье совсем застывавшего дня. Было такое страстное оцепенение в склоненных, прижатых друг к другу былинках, в давно умерших цветах, такое ожидание движения, стремительного шороха, заячьего бега в этих древних, непроходимых межах, такое напряжение в склоненных вниз, смертельных ружейных стволах, что Надя, вся розовая от ходьбы, уже изнемогала от нетерпенья и мучительного, словно обреченного ожидания. Она уже чувствовала себя в полной власти — коротких охотничьих посвистываний, полусогнутой темной куртки, с вытянутым, страшным заряженным ружьем; властных движений — вправо, влево, назад; его тайных знаков, сразу звавших ее лихорадочно машущей рукой, его перекошенного волнением

шопота, грубой неутомимости, силы и воли, которым она подчинялась с неясным для нее, тайным наслаждением. Все переменилось. Она была охвачена новым чувством, не знакомым ей раньше; детская преданность, стремление быть с ним рядом, гипнотизирующая сила оружия — все это заставляло ее, закусив губы, задерживая дыхание, напрягая последние силы, следить за каждым его движением. Тяжелый блеск ружейных стволов, сухое щелканье взводимого курка надвигались на нее секундами зажмуренного, нестерпимого ожидания; спокойная, уравновешенная сила оружия, готовая вот-вот разорваться дымом, потрясающим огнем удара, вставала в ее ощущениях новым миром мучительного покорного страха, покорности, и вместе — обаятельного, нежного безумия. И в центре — была уверенность пересеченных ремнями плеч, его лица, совсем далекого от нее, остающегося с собой наедине, вместе со взведенными курками, со своей решительной бледностью. В секунды полной тишины, считающей каждую травку, сорвавшуюся под ногами, — тогда, когда все уходило в его быстрые движения, в решимость, в твердое вскидыванье ружья, — ей становилось трудно, невозможно. И — это тянулось все утро, так долго, без всякого результата.

Ланге коротко свистнул. Они подошли к новому полю, густевшему перед ними тяжелым, разломанным жнивьем, пересеченным межами, заброшенными полосками и мелким кустарником. Его голос донесло невнятно: он почти не смотрел на нее во все это смутное, оглушившее ее утро. Остановка. Сейчас они пойдут по двум межам; здесь, он ручается, где-нибудь, обязательно л е ж и т; здесь он убил не одного матерого, превосходного русака; в этом поле — их старинное, любимое место.

Они двинулись. Все поле с ужасом следило за их движениями; каждая травинка вскрикивала от боли и тревоги под их сапогами. Сухой треск соломы резал тихий воздух стальными ножницами. Коричневое поле стлалось грубой неопровержимой силой. Надина шапочка нежно светлела и качалась над межами. Если бы она знала, как ценна и невозвратна была ее жизнь в это заповедное утро! Сухой, последний репейник настойчиво хватал ее за руку, упрашивая не итти, остановиться.

Они двигались непреклонно, затаив дыхание. Поле надвигалось на них темнотою своих спрятавшихся, заросших уголков. Иногда жнивье лезло так густо, что страшно было опускать шаг: нога натыкалась на жесткий беспощадный, колющий шум. Вдали поле опускалось в низкую долину, синевшую кустами и овражками, — и снова ровные, мохнатые полосы лезли вверх, обрываясь голубой нетленностью чистого неба.

«Как далеко! — подумала Надя. — А что если побежать туда, взобраться на холмы, еще и еще, и дальше. Как хорошо бы прибежать и вдруг увидеть там конец света... Прямо — обрыв, и—ничего: небо, пустота, без конца и возврата. Схватиться бы за руки, взяться крепко, крепко и броситься, и лететь, лететь...»

Сухой, металлический треск сорвался у нее изпод ног. В секунду он повторился шорохом, тяжело мотнулся качнувшейся густой веткой репейника и вдруг ужасным, близким прыжком выскочил впереди нее: огромный, длинноухий заяц, словно нехотя, вскидывал перед нею белый пушок хвоста, срывая былинки, чернея ноздреватой головой, и вдруг пошел прямо через поле...

Ее оглушило хлынувшей к голове кровью.

— Заяц! Заяц! — закричала она диким, не своим, исступленным голосом.

И в тот же момент русак молнией вытянул туловище и, прижав черные закругленные уши, выкинул отчаянный, головокружительный прыжок и бешено замелькал голубой тенью над слившейся рыжей землей.

Поле прыгнуло и помчалось за ним; сбоку раскатисто и дымно ударило, и где-то далеко, — она видела, видела, — прыгнуло в последний раз и вмиг остановилось поле; заяц мгновенно дрогнул, покачнулся и сразу опрокинулся набок. Надя видела, — кричала, ликующе бежала к нему, — он огромной кошкой протянулся на колючей борозде, белея пушистым светлым брюшком.

— Ланге, скорее! Ланге! — продолжала кричать девушка, прижимая руки к груди.

— Готов! — отвечал он ей, как будто спокойный, перезаряжая ружье, еще дымившее длинными стволами — и вдруг нелепыми саженными прыжками кинулся за ней к светящемуся на земле пушистому комку.

Она добежала, еле дыша.

— Фу! Здорово! Но какой милый, милый, бедный...

Ланге приподнял русака, кинувшегося вниз передними лапами и тупой безжизненной головой с коричневыми ночными глазами. На его рябой от крови морде сияли уже зимние, ждущие вьюг и снегов усы. Русак был матерой, с черным ремнем на бархатной спине, весь заиндевевший от плотной и теплой седины. Ланге прикинул русака на вес. Ничего! Этот потянет фунтов на десять.

Надя смотрела на все это молча, закусив палец руки, о чем-то напряженно думая. Что с ней? Она ничего не понимает. На нее надвигалось нечто ей

совсем неведомое, ликующее и вместе с тем опасное.

— Так, — сказал Ланге. — Видите, как все просто и несложно.

Он бросил русака, встал на одно колено, начал разглаживать мягкую, ласкающую руку шкурку. «Старое детство, заяц, этот день... — Ему стало глухо, отчаянно, безнадежно. — Если бы кто знал... какая жалкая, ненужная победа!»

Надя подошла к нему совсем близко. Она попрежнему о чем-то напряженно думает и кусает палец левой руки. «Ха-ха!» — произносит она одно из своих восклицаний. Она смеется, кладет руки на его плечи, срывает с него фуражку и вдруг начинает быстро колотить по его спине кулаками. Он никак не может повернуть к ней голову, бледнеет, ничего не может понять, — и она неожиданно, полная решительной силы, чуть не плача, шепча несуразицу, запрокидывает его изумленное, сразу похудевшее лицо и начинает без конца целовать его щеки, пахнущие полевым холодом.

7

Пропал день, ушел вечер, уже прощально, поматерински смотрели в далекое зеленые осенние звезды. Стыл последний туман, шествовал холод, беспредельный коченеющий мрак земли. К полночи северная туча закрыла леса, багровый рожок молодого месяца, потушила отсветы давно умершей реки. Гуси уже не гоготали в спрятанном темнотою небе. Был поздний час, замереки, ожидание снега.

И ровно в полночь, на кордоне, когда давнымдавно задули огни, царствовал сон, объездчик слез с печки, нащупал валенки, надел их и, крепко прикрыв дверь, вышел на двор. Туча закрывала

последние звезды, стоял глухой оловянный холод.

Он сошел с крыльца, остановился и так и остался стоять с поднятой, непокрытой головой, вытянув огромные тяжелые руки. Смутный, нарастающий гул едва уловимо шел с севера. И ничто не ответило на этот первый, чуть долетевший скрипящий шорох. Шли замереки. Последние звезды текли великой тоской в исчезающем небе. Лесник огляделся, взглянул на избушку Ланге, притушенную в темноте сада, высоко поднял голову.

— Спят! — громко сказал он и грустно, широко вздохнул, припомнив стародавнее.

Гул приближался. Поток ветра ворвался в сад, зашумел и дохнул на него снегом. Лесник стоял, никому не ведомый, и слушал. Все спало, забывалось под налетающим снегом, и, казалось, никого в живых не осталось на этом дальнем, пустом хуторе. Лишь тихонько стучали под звездами московские часики, и в безглазую тьму в закинутой на краю света избушке со стены зорко, неустанно смотрели с фотографий мертвые, давно забытые всеми офицеры российской армии; в их числе был подъесаул 113-го Заамурского казачьего полка И. Позднецов, убитый под Ляояном. Он глядел лихо из-под сибирской папахи.

Но и он, конечно, не мог слышать и видеть, как еще раз налетел ветер, принес первые сухие снежинки, и в саду с глухим счастливым стоном сорвалось и тяжко упало в листья последнее яблоко.

Москва, 10.29

Ночная сирень

Да-с... Так это история самая обыкновенная, как говорил когда-то господин Гончаров, и даже заурядная. Ничего особенного в ней не случится, миры она не потрясет, и ничего примечательного я вам не расскажу. Но вечер прелестный, — неправда ли? — вся эта кутерьма, называемая жизнью, стихает, а вы еще то, что называется «молодой человек» и не торопитесь к своей жене с букетом сирени за тридцать копеек. И не торопитесь — успеете. Сирень цветет каждый год, весны в Москве упоительны для всех возрастов, и лучше приобретать заново, нежели подводить итог дымом вот этой замечательной трубки... Так вот. Жена ваша дышит еще ожиданием, увлекается сорокалетними юношами, живет в каком-нибудь шестом этаже и читает сейчас книжку — как это, с черемухой или без черемухи... Так, кажется, называется эта мировая проблема? Благодарю. О вас во всяком случае она не думает, ей-богу, ни на одну иоту, погружена она в свое майское белое платье, в ресницы стрелками, в трогательные худенькие ручки, и мечтается ей о том, о чем вы никогда не узнаете. И чорт с ней! Все это придет, и вы успеете на все наглядеться и все это погубить, если не научитесь некоторой мудрости.

Надеюсь, я не окуриваю вас своей трубкой? Отлично! На мою модернизированную бороду и спортивный костюм прошу смотреть снисходительно, — это только стилизация. Невольная, мой друг, кля-

нусь невольная, ибо я давно пришел к мысли, что неправдоподобно украшать сорокалетнюю жизнь довольно бессмысленно, тем более в моем привилегированном положении. Положение мое, а может быть, и ваше, судя по лицу и галстуку, генеральское... Я говорю так, имея в виду, что губернаторы понятие архаическое, такое же как Сардиния или Мушкетония, а генералы и посейчас торгуют семечками и чувствуют себя прескверно. Итак, брошу несколько штрихов автопортрета и всяческих происшествий. Фамилия моя не важна — она не запоминается, имя без особых примет и ассоциаций, борода загранично-претенциозная, служебное положение — бухгалтерия. Как видите, остается в памяти одна борода, ибо о мужских глазах не говорят, а все прочее — стандарт от губернской гимназии, приволжской юности и прочих мерехлюндий, о которых достаточно написано всякими чириками и свистунами. Установим же социальные корни и отбросим все лишнее. Интеллигент по цензу, трудящийся неопределенных мелкобуржуазных дрожжей, зарегистрированный в месткоме, человек сорока лет, сидящий здесь на Театральной каждодневно от десяти вечера до часа ночи. Холост, вернее разведенный и бывший, детей не имеет. Да-с, анкета, каких, я полагаю, сотни тысяч, курикулюм вите, годное только для статистики. Но здесь есть некоторые фактические поправки.

Механические интеллигенты, мой друг, презабавный народ и — прескучнейший. Я говорю по собственному опыту. А опыт был, и чреватый последствиями. Но какая проза, безобразная скука, провинциальная фотография! Сидели всю жизнь, осторожно снимали пылинки с выглаженных брюк, принимали соответствующее культурное выражение, а жизнь — хлоп!, —можете одеваться, — и фо-

тография получилась бездарная, серая, нелепая, сзади какие-то колонны и горы, рука на пошлейшем кресле — и биографии, в сущности говоря, никакой нет... А жизнь, простите меня, вместе с душой прошла, лысина во всю голову, и начинается уже наша закадычная красивая грусть о каком-то прекрасном прошлом. А прошлого никакого не было, и человек не отыскался, сгинул, — и все это есть ерунда.

Да был ли, чорт возьми, на самом деле Иван Иванович, который двадцать пять лет тому назад как будто ел по утрам чайную колбасу и проживал в меблированных комнатах на Покровке? Были ли вообще, спрашиваю я вас, эти гнусные комнаты с желтыми графинами, швейцар в синем казакине и серебряной часовой цепочке и потертые красные гардины на окнах? И ходила ли к этому усатому швейцару особа из двадцать восьмого номера, полная, простоволосая, говорившая всем, что замучил ее этот ирод и, дескать, не может она выносить его мужских достоинств? И жила ли в семнадцатом, сплошь завешанном афишами, желтоволосая старуха-актриса вместе с хромым грачом, с кем вела она бесконечные разговоры о бренной своей и давно уже закатившейся славе?

А вот идешь по Покровке, и чудится: там, где-то в воздухе, где за тридевять времен висел третий этаж, в номере, выходящем к пожарной лестнице, лежит на кушетке Иван Иванович и курит табак Месаксуди, пахнет от Ивана Ивановича ваксой, служит он неизвестно где, а по праздникам одевает желтый целлулоидовый воротничок и сиреневый галстук... Идешь, и кажется вот выбежит грач в коридор, закашляет глухо желтоволосая дама с орлиным профилем, загалдят на лестнице, и вырвется из швейцарской особа в одной рубашке,

завизжит, а в номерах повсюду пооткрываются двери. И обоймет сердце глупая и сладкая грусть.

А ведь нет давно никаких меблированных комнат, давно построили там хороший чистый дом — и чорта ли вспоминать все это? Зачем вспоминать, спрашиваю я вас? Может быть, вам ответит трубочный дым.

Если разобраться, как следует это честным, простым людям, — вспоминать собственно нечего. Жил Иван Иванович, была особа, швейцар с усищами в аршин, и никакого дела до их жизни и всяческих там их упований у нас не было. Всем было наплевать друг на друга, никто не знал, куда ходит и чем живет ваш покорнейший слуга, а этот слуга в свою очередь тоже ничего не знал о прошлых своих презабавных сожителях. Туман, небыль, мистерии! Да, спрашиваю я вас, была ли там жизнь, настоящая, веселая, на пользу себе и людям, такая, которую стоит вспомнить под вечер в родном кругу и, вспомнив, похорошеть, прибодриться и пройтись по комнатам петухом, на манер героического деда?

Мы внимаем ветхим дедам,
Словно статуям из ниш:
Сладко вспомнить за обедом
Старый пламенный Париж,

Протянув больную руку,
Сладко юным погрозить,
Сладко гладить кудри внуку,
О минувшем говорить.

А ведь никакого Парижа не было, чорт возьми! В меблированных комнатах, где проживал ваш слуга, воняло, попросту говоря, нужником. И жил ваш слуга там еще студентом на тридцать пять рублей ежемесячных. И обходилась фуражка с голубым околышем его папаше нескончаемыми ссорами с его мамашей, и все это вместе есть заурядь-

ная почтово-телеграфная семья, собственный домишко в деревянном губернском городе с клопами и скворешником, без всяких идиллий и соловьев, на зверином расчете российской проклятой копейки. Ко-пей-ки! Копейки — дважды и трижды, и копейки — четырежды. Итак, я раскуриваю, и будьте ласковы за этот дым.

Деньги вообще пахнут очень и очень неважно. Лгать я вам не собираюсь, ибо лгал с детства, лгал возмужало, лгал себе самому и другим и лгал — вообще, как лгал этот механический мировой интеллигент на всем земном шаре. И, боже ты мой, ежели кто посягнул бы сказать на простом человеческом языке, что краснел, говорил торопливо, волновался и грустил Иван Иванович Иванов не от мировых идей и таинственных идеалов, а оттого, что потратился он зря на извозчика, и оттого, что заплатил он за сирень последние тридцать копеек, а барышне своей врал, что кутил он последние три ночи в Большой московской или у Тестова, и барышня смотрела на него расчудесными туманными глазами. Ложь есть, мой друг, всегда и при любых обстоятельствах корысть. Корысть же неутомима, и нет предела ее жадности, — и лгущий человек, и лгущее время, и лгущий класс, если хотите, всегда создают наживу за счет других и везде организуют, облагораживают и защищают воровство. А воры есть до поры до времени несуществующие, запрятанные очень глубоко и хитро и неизвестные поэтому люди. Так вот, давным давно, в счастливые генеральские времена, в клюквенном царстве да в сахарном государстве жил-был на Покровке, в первопрестольной и святой Москве, врал направо и налево, а следовательно, тихо и скромно тащил что мог у себя и других некий Иван Иванович Иванов. Государство российское, орлы и помазанник-

царь, православный и богоносный народ и наш брат-интеллигент — всеобщий, независимый, священный и героический дух, витающий над прогрессом — есть самое настоящее и препохабное вранье. Полагаю, что спокон веку на сих палестинах, местах и таинственных вместилищах произрастала лишь развесистая клюква. И полагаю не в силу моего проникновения в глубины социальных марксовых наук, а прежде всего потому, что Ивана Ивановича Иванова, числившегося в паспорте и прописанного в соответствующем полицейском участке, на самом деле реально не существовало, а проживало за него ложное, хотя и живое, существо. Настоящий же Иванов, действительно исключенный из императорского университета за невзнос копейки и обнаруженный революционным судом в городе Николаевске и открытый заново, есть я, говорящий вам чистейшую правду, а следовательно, уже существующий и проживающий на нашей возрожденной земле. Ибо существование начинается с момента, когда человек узнает, кто он есть на самом деле, дабы знать свое место и обрести правоту своего бытия. Итак, продолжаю.

Боже мой! В четверти своего столетия налгал, натащил откуда только мог Иван Иванович Иванов взглядов, обычаев, традиций и всю необходимую, фанерой крытую душевную мебель, обитую всяческими моралями и благородствами, дабы сидеть на ней удобно и для примера молодым. За сто двадцать пять рублей жалованья приобрел он в жизни все подобающее: шляпу и тросточку, янтарный мундштук, взгляды из «Вечернего листка», эдакий борзой и культурный взор и даже самоуверенность в суждениях за преферансом, без коих человек признается безусловным дураком. Империя российская оболгалась в те генеральские времена окон-

чательно. Ложь, мой молодой друг, родилась из страха. А зачал этот дикий и ужасный для всего живого страх еще нагой человек, впервые между калом и мочой возникший. Увидел жизнь — и навсегда прикрыл в ужасе после этого жалкую наготу свою. Будьте уверены, так оно и было. И, будьте уверены, разницы между дикарем, придумавшим всевозможных идолов на небесах и на земле ради смягчения страха, и нашим православным интеллигентом, стандартным, как папиросы «Зефир», со всевозможными гаудеамусами и неопределенными идейками вообще — нет никакой. Виноват, первый был образованней и честнее. Тот хоть и выл перед луной, а точить каменные топоры, убивать, жарить на костре, сдирать шкуры в один мах умел, и умел превосходно. А паршивый адвокатишка с обстановкой и собственным горнишоном в крахмальном переднике и кружевных панталончиках — и убивать, и высекать огонь, и колоть дрова в революцию отказывался. И действительно, не умел. И не поверил было спервоначала, что дрова колоть ему придется по-настоящему и что не знает он самых простых вещей, и что дворники и горнишоны во много раз нужнее и образованнее его священной особы, и что пора ему, как социальному дикарю, тошно и предсмертно завыть на луну, и что взошел над миром и раздел его донага непонятный и древний страх, ибо все идолы его побросаны в реки и сожжены на огне. Точка. Полагаю, что Иван Иванович Иванов, игравший по праздникам в преферанс с адвокатом, гордившийся, что бывал у него запросто, хотя и знавший в тайниках души, что принимали его из сожаления и милости, запрятал за сто двадцать пять рублей жалованья и затаил свой ужас перед жизнью преподлейше. Ибо знал же ведь он правды о себе и о жизни чуть-чуть

побольше, чем все эти чиновники, адвокаты, профессора в мундирах и генералы, любившие представляться без мундиров. И надувал он собственную персону долголетне и так, что взаправду поверил в конце концов в клюквенный народ российский, в сахарную оную, никогда не существовавшую Россию и даже в народного этого, хлебосольного генерала, отца православных батальонов с белым крестиком на раздушенном кителе. Но об этом рассказ последует. А сейчас — не бывал Иван Иванович ни в усадьбах и ни в дворцах, никогда не знал ни Царского Села, ни Петергофа, но говорил о них восхищенно и благоговел перед роскошью. В великосветское общество зван он не был, но драмы из великосветской жизни в модных тогда кинематографах, с Мозжухиным и Верой Холодной, смотрел с замиранием сердца. Давным-давно знавал он горечь черного куска и уездно-губернскую темь, и клопов-мамонтов, и брань уездных салопниц, и ту скуку и униженность бедности, что не бог весть редко как кончала с собой от тоски в нужнике на ученическом ремне, — знал он все это, но хранил свято и нерушимо в памяти и чтил нехорошее, злое и расчетливое свое золотое детство. А березовый полдень! Майские соловьи по ночам! Троица в полевой, заросшей листом и цветами России... «Быстры, как волны» — наше задушевнейшее, синее и лесное, наши дороги в овсе, наши кукушки и росы, и запах реки... Эту самую зазверевшую в мелкой, политой потом и кровью корысти, заглохшую и прогнившую в топях и чащах, застоявшуюся, да матершинную прорву с картофельным пузом что барабан, с разнесчастной голендухой-судьбой и гнидами в голове, — пели некогда в Москве эту татарню, мордву да финскую чудь, пели Россией, ласково, бездумно, широко,

и подпевал Иван Иванович — в куртке с золотыми пуговицами, в сапогах и с гитарой — и плакал. Эх, да эх, переэх, да ухнем! Плакал он над русскими песнями, вероятнее всего, искренно. Хотя искренность, страдающий брат мой, есть вещь глубоко условная. В начале начал таит в себе эта вещь глубочайший инстинкт. Инстинкт сей в цветке распускает все, чему надобно расцвесть и благоухать, а человеку даден инстинкт сей с детства, дабы он утверждал себя, цвел он во все свои таланты, благоухал во все свои дарования и положенные ему по штату самые прекрасные наклонности. И произошла по россиям в силу всего этого препохабная русская запуганная печаль, ибо Иван Иванович Иванов в цветках никогда не ходил, собою стать ему никак не пришлось, бояться себя привык он, как огня, заскромнел на всю жизнь, а березовую кашу отлично познал с коротких штанов. В двадцать пять лет остался от него один лишь российский страх. Страх! Единственный, искренний, подлинный, изворотливый и хитрый император и самодержец всероссийский и прочая и прочая! Запомните: Страх! — и с большой буквы.

Страх, как я уже говорил вам, ведет всегда к всевозможнейшей лжи. Ложь эта искреннейшим образом совершает разнообразнейшие человеческие поступки и убеждается пунктуально в конце концов, что она воплощенная правда, белая добродетель и законность, и есть она собственно самая подлинная и настоящая соль земли. И способна она создавать не только Козьму Крючкова с историческим чубом, но и тот «нас возвышающий обман», благодаря чему столько пошлости и дряни развелось кругом. Обо всем этом мой любимый Лермонтов чудесно рассказал в своем замечательном интеллигенте господине Грушницком.

Так вот, чорт возьми, в царствование единственного настоящего императора всероссийского — Страха Первого, и, надеюсь, последнего, то, что называлось нашими Иваном Ивановичем, жило, ходило на службу и пробовало даже размножаться, уже в полном спокойствии и достоинстве, пока не случилось с ним некоторое и весьма обыкновенное обстоятельство.

В один прекрасный день, перед самыми что ни на есть синими и морозными святками, получил он в свои меблированные комнаты письмо из благословенной приволжской провинции. Писем, надо сказать, он не получал давно, отлучаться из Москвы приотвык, родителей благополучно схоронил и забыл, а тут объявился приятель гимназических лет, звал к себе в глушь, в снега, в забытый богом пароходный затон, к отцу, самолетскому командиру, обещал елку со свечами, хлопушками, лыжи с шумными гимназистками и тысячу распрекрасных вещей. Перепугался спервоначалу наш герой гимназисток, перечитал письмо в десятый раз — и, была не была, скинул пятнадцать лет, почудил и попрыгал перед своим косым зеркалом, порозовел и рассказал в тот же день сослуживцам в самых пребойких словах о гимназистках с косами, о лыжных приключениях в диких русских лесах и полях и какой он на самом деле веселый, отчаянный и молодой человек. И ему, в самом деле, сначала было поверили. К вечеру поверил он сам в это окончательно и бесповоротно. И, недолго думая, взял да и поехал лихо на извозчике через всю заиндевелую, разблестевшуюся в снегах, дымах, звонах и огнях, надышавшую предпраздничной суголокой, уже пахучую от рождественских магазинов, огромную и седую Москву. И велел извозчику гнать на Плющиху, к адвокату Петру Ильичу,

снисходительному своему, неунывающему покровителю и приятелю. Извозчик попался ему древний за семь гривен, ехали они медленно мимо этой вот самой Театральной, и дым коромыслом стоял на ней от смеха и говора, от лихачей и газетчиков и от звона румяных столпившихся трамваев. И что за вздорная жизнь кипела на ней! Голубой снег так и горел и рассыпался блестками под вечерними фонарями. Торговали на ней апельсинами, орехами, ангелами в бертолетовой соли, свечами и фонариками, и сновала по ней взад и вперед, в бобрах и каракулях, в сконсах, в шляпах, в офицерских фуражках, в духах, в гуле и веселых дыханиях, черная, как галки на снегу, суета и толкотня. А потом ехали мимо Иверской, — там теплились над непокрытыми головами людей синие и красные древние огоньки, колебалось зарево иконных позолот, бежала без конца мимо оживленная толпа, звонил и рассыпал зеленые искры трамвай, скрипел и визжал огненный санный мороз, а над сизыми башнями, над освещенной, снеговой и протоптанной совсем по-лесному чащей дерев Александровского давно уже мерцала далекая тишина звезд. И размечтался совсем наш герой, и на Воздвиженке возьми да и расскажи извозчику, по запрятанной в душе его чистоте, что едет он, мол, к своей невесте в губернию и что вольный он человек, и что жизнь ему сейчас по колено. Да и впрямь, опьянел он от своих неведомых чувств до полного счастья. Извозчик выслушал, почмокал, расспросил о губернии и о волости, а за невесту похвалил. И обошлось Ивану Ивановичу Иванову несуществующее его счастье в лишние пять гривен.

Дом, где проживал адвокатишка Петр Ильич, был самый что ни есть предвоенный, просвещенно-

купеческий. Сел он середь бабушкиных двориков, православных пустырей и мезонинов с цветными стекляшками, шестью этажами, квартирами, газами и прочими европейскими удобствами, и был на нем кафель, овальные медальоны, изразцовые всякие символизмы, страшные птицы, лилии и зеленые утопленницы. Взялся наш путешественник и герой за парадную ручку в виде задремавшей сатанинской змеи, хотел было взбежать привычно и праведно по лестнице, расписанной синими масками, да вспомнил вдруг о новом своем положении и нащупал в кармане двугривенный... И подняли его в буржуазной кабинке, плавно и полированно, под самый шестой этаж. Жил Петр Ильич холостяком, за медной, начищенной доской с полным его званием, именем и отчеством, за просвещенными и передовыми какими-то капиталами, за актерами, писателями и борцами, за мистической закругленной и яйцевидной, неудобнейшей мебелью, — с комфортом, с роялью, со всяческой лилово-купоросной голой чертовщиной на стенах; и нашумел по приятелям, подарив горничной своей тысячное каракулевое пальто. А жаловал героя нашего, я полагаю, из артистизма, за тишину и преданнейшую восхищенность его адвокатской жизнью. Отворил на звонок сам, в распахнутой вишневой венгерке со шнурами, округлил потешно выпуклые плутовские глаза и задушевным образом потащил Ивана Ивановича Иванова к себе за плечи.

— Отец Сергий! Се жених грядет... Ха-ха! — и добродушно и троекратно расцеловал гостя в губы. — Люблю, люблю, люблю — за внимание. Ну, ну, раздевайся, господин демократ!

И, бросив Ивана Ивановича с пальтишком у странной, двухзеркальной вешалки, походившей не то на преогромные очки, не то на дьявольский

какой-то станок, просунул голову в дверь кабинета своего и произнес весело и вкрадчиво:

— Мадамочка! Мигом кофию, коньячку, закусон... А мне просто — водки и огурцов. Парад алле!

Гость оправлял уже кургузый свой пиджачок, — и обняв за талию, напевая про себя, повел его адвокат прямо к себе в опочивальню. А опочивальня эта, надо вам сказать, была примечательная. Висело, стояло, покоилось в ней — по стенам, полкам, столикам, а более всего у необъятного, застланного совсем по-дамски кружевами низкого ложа — великое множество всяческих женских головок, глаз, плеч и причесок в полированных рамках и без рамок и под стеклом. И все они были с надписями из женских красивых слов, тщательно-многозначительных, завитых, подобранных, модных, с модной в те времена обреченностью, таких же, казалось, тайных и значительных, как все эти грешные и молодые пряди волос, опущенные челками на лоб, лукаво загнутые к щекам под Кармен, как все эти родинки и нежные синяки, заснятые в хороших и дорогих ателье. Каких только девичьих и дамских судеб не было там! Сидел Иван Иванович и видел: распушилась перед ним необъятная желто-снеговая медвежья шкура, сверкал над нею прохладным фаянсом, никелем и хрусталем умывальный прибор чуть ли не с ванну, и был он весь заставлен, как в хирургической, самыми откровенными приборами, резинами и разными штуками, употребляемыми отнюдь не нашим благородным мужским сословием. Сидел, курил адвокатовы папиросы с духами, слушал какие-то стихи о солнце, и от фотографий, и от штук на умывальнике, и от особого запаха опочивальни совсем осмелели мечты его, и поднялось в нем все запоротое

отцовскими и императорскими розгами, и пробовал он говорить о письме.

— Нет, нет, ты погоди, ты послушай, — добродушно махал на него адвокат и ерошил канареечно-желтые волосы. — Ты молчи, отец Сергий! Ты слушай! За-ме-ча-тельный талантище этот Бальмонт! Замри и внимай.

И читал нараспев, в нос о взлетах, о дерзости снимания одежд, восторженно матерщинил, ахал и говорил о расцвете эроса, о магии новой культуры, о вещих озарениях Врубеля. А потом в дверь постучались.

— Стэлла, антрэ! — скомандовал Петр Ильич.

И вошла в опочивальню мадамочка с франтовски приподнятой кружевной грудью и передником девочки, поставила на столик поднос, — взглянув невинно на мушкетеров наших глазищами в синих перьях, присела, показала круглую икру в тельном чулке — и вышла.

— Пей, представитель народа! — сказал адвокат и прибавил одобрительным шопотом — Ох, хороша, стерва! Ни за какие не променяю. Сам Рябушинский сманивал — ни, ни... Ну-с... Будем, как солнце!

Пил он превосходно. К полночи зашумело у Ивана Ивановича в голове окончательно, и поразил он высокого и опытного мецената своего наивностью, чистотой и неведомой гимназисткой, поразил и насмешил, и было решено вместе, всенародно, завтра же покупать лыжи, мандарины, золоченые орехи и ангелов и катить немедля с Курского в глухую, в святочных елках и снегах занесенную Россию. И, как это бывает у избалованных и беспечных людей, обнаружил адвокат большую заинтересованность к этому наивному и провинциальному приключению. После же превратился в голый свой

умывальник, расшутился до неприличия, надел на себя мистические дамские панталоны из прозрачных кружев, махровые пышные подвязки, танцовал танго с мадамочкой под граммофон «Пишущий амур» и рассказал, посоветовал и подарил отцу Сергию нечто такое, что тот распоясал совсем мечты свои и решил стать самым что ни есть настоящим мужчиной.

Стоял в ту ночь над Москвой, над пустыми полутемными улицами, над домами и людьми, над самыми потаенными их мечтами и желаниями император всероссийский и единственный — Страх.

Но все же через двадцать четыре часа пошла по ночным проволокам из сорока сороков в приволжский затон депеша на имя неизвестного и неведомого адвокату с Плющихи Матвея Алексеевича Зубова. А еще через сутки, в самый сочельник, когда давно взошла над стихавшим, натопленным, с окнами в заревах и сияниях парафиновых свеч и еще торгующим городом вифлеемская эта самая звезда, подъехали два мушкетера к Нижегородскому вокзалу. Как всегда, бессонно шипели его голубые фонари, нависал из темноты стен циферблат часов, на ступеньках подъезда стояли люди в фартуках с медными бляхами, но особо пустынно было в ту ночь на площади, и особо грозно и гулко катались гудки и взлетал пар в лабиринтах вагонных крыш, поднимавшихся над заборами бесчисленными пиковыми тузами. Стрелка подвигалась к одиннадцати. И в буфете первого класса, где торжественно пылал киот и осторожно звякали судками между пальм и белоснежных столов с мельхиоровыми шампанскими ведрами, многие подивились в тот час адвокату Петру Ильичу. Ибо появился он за пять минут до отбытия курьерского выпить стопку смирновской в удивительном клетчатом мохнатом пальто,

в шотландской шапочке и заморском шарфе, и был весь с иголочки, в сумках и в термосах, в ослепительно свежих и хрустящих ремешках, с английским медвежьим ножом Роджерса у пояса и какой-то особенной японской грелкой. Обыкновеннейший Иван Иванович давно растворился во всем этом дорожном великолепии, как влюбленная жена. Только и запомнил он, как нес конфузливо новенькие шведские лыжи, как шел за носильщиком по ослепительному, как у подъезда цирка залитому светом дебаркадеру, как нескончаемо тянулся наглухо свинченный, сплошной стеной заставивший небо и пути лакированный синий и желтый курьерский, неподвижно ожидающий трех звонков своими широко-спокойными гранеными окнами. И запомнил еще — обмирающую тесноту в груди, занавешенный шторами, уходящий ковром и тиснеными стенами тоннель коридора первого класса, где он был первый раз за всю жизнь, теплый и нежный запах чьих-то духов, учтивость кондуктора в очках и как он, волнуясь и почти не дыша, сидел в спальном, застланном чехлами купе и ждал из буфета адвоката Петра Ильича. Потом за окном гулко ударило три раза, залился переливчато оберский свисток, и за ревом далеко впереди вдруг уже тронулись столб и ослепительный свет у вокзальных окон, люди в морозных дымках вкруг головы, жандарм, похожий на Александра Второго, — на вытяжку, под козырек, — и в вагон сразу, совсем по-дорожному, начав иную жизнь, ворвался сквозь дверь тяжелый нарастающий гул — громыханье цепей, мерный шаг колес, неожиданно громкие голоса и вслед развеселый адвокатский смех, повергший Ивана Ивановича Иванова в неописуемое облегчение. Наконец появился и сам Петр Ильич, напоминающий не то охотника за черепами, не то запла-

петного путешественника, с огромною дыней в руках. А за окном уже отревелся на стрелках и петлях путей паровоз, отмахались вагонные парки, и уже с лету смигивало глиняные откосы, стремительно кидались под бритву летящей световой полосы снег и темнота, и медленно тонула в бездну отходящая в прошлое необъятная полоса огней.

Здесь я оставляю вас на секунду фантазии — в курьерском, ночью, и закуриваю...

Так вот, на рассвете очутился наш курьерский один-одинешенек в глубине самой что ни есть дикой, лесной и сугробной страны. И едва подкатил он прямо к станционным снегам, едва успели московские мушкетеры покинуть теплую свою спальню и повыкидать на соседний путь лыжи, кульки, плетенки и всевозможную магазинную снедь, как заревел он опять, тронул, — и вот уже осиротели пути, лес и забор, с ветром и гулом прошел последний вагон, покачался красным флажком, уменьшился, стаял за семафором — и был таков. Тут-то на шпалах, под небом отечества и разыскал их капитанский сын и лесничий Матвей Алексеевич Зубов — чернобородый, белозубый, косая сажень в плечах. Разыскал, обнял, надсмеялся над городскими ихними одеяниями и, прикрыв пахучими овчинными тулупами, помчал сам за сорок верст к родителю своему Алексею Силычу в затон.

И что за леса за серебреные, темные, краснодеревые, по пояс в чистейших снегах стали на их пути! И что за смешные истории и анекдоты рассказывал неутомимый и простейший Петр Ильич! И как хохотал лесничий! Лежал Иван Иванович в уютном овчинном тепле, дышал святочным студеным воздухом, пьянел от его чудесной силы, вспоминал все слышанное и виденное в курьерскую ночь и на Плющихе, и казалось ему теперь таким доступ-

ным, простым и совсем ему по силам все то мужское, дерзкое и бесстыдное, что он видел и слышал и что так трусливо и тайно пряталось столько лет в его бедной событиями и совсем уже не побеждающей жизни. И подарок адвоката — круглая деревянная коробочка — жег его безудержным смехом.

Переехали огромную, задутую синевой предвечернюю реку. Привстал тут лесничий, высморкался рукавицей, гикнул — и миновали они остров в столетних раскидистых деревах и таловых зарослях, въехали в тихий, убаюканный высоким горным берегом затон и покатили прямо к дымам, на первые домашние и лучистые огни. И что за широчайшие мертвые жерла труб, недвижные красные колеса, пароходные ярусы, этажи и лесенки, заледеневшие в зеркальных стеклах салоны, белые просторные палубы спали на своих сине-зеленых обколотых полыньях! И что за горы, снега и мороз охраняли этот белый покой!

А совсем в сумерки раздевались они в жарких горницах с лежанками и скрипучими полами, и расчудесно пахло там пушкинской Русью — сосновыми бревнами, пирогами, всяческой домашнею снедью, девичьими меховыми шубками, ибо не обманул их Матвей Алексеевич и наехала в его родительский дом из губернии, и бегала по комнатам, и успела уже надышаться морозом, раскраснеться и насекретничаться лукавая женская молодежь. Ждали их чуть ли не с самого утра и сразу обласкали и шумно потащили за стол. Усаживал их сам отец-командир Алексей Силыч — самолетский капитан, вышедший из бурлаков, огромнейший, бритый, багровый и седоусый, в щегольском синем кителе с золотыми пуговицами и чесанках выше колен. Едва усадил, едва представил, добродушно хрипя, красавицу свою седую и хозяйку Марью Ильи-

нишну, едва пригляделся и опомнился Иван Иванович среди незнакомых веселых лиц, среди шума и говора, тарелок, рюмок, графинов с потопленными хрустальными петушками, бутылок — шустовских, сараджевских и смирновских, всевозможными кеглями заполонивших стол, — как уже, смеясь, назвал его кто-то чудесный с темной косой и освещенными глазами «отцом Сергием» и чьи-то руки в кружевных нарукавничках положили на его тарелку и соучастно полили маслом и сметаной горячие приволжские блины. Время полетело тут совсем быстро. И не сразу осознал и разглядел сей мушкетер, что хлебосольные руки эти принадлежат его соседке и что ей всего-навсего семнадцать, и что он сам ее сосед, и что от рюмки нежинской, от крика и света плывет у него в глазах нескончаемая карусель и все это вместе есть его воскресшая жизнь, его тайное и далекое, давно жданное и близкое до счастливого рыдания и называется Катенькой Асмоловой, — нет, не так, а по-русски, миловидно и чисто, как через весь стол басит волжский капитан — Екатерина Михайловна.

Была она, действительно, стройна, привлекательна и необыкновенно мила в своем гимназическом платье, и по-женски совсем возбуждена от полученного впервые отчества и от заботливой роли хозяйки по отношению к новому своему соседу, о от тысячи других очень молодых и хороших причин. И свалилось такое милое чудо прямо на голову Ивану Ивановичу.

Наступил все-таки, пришел, обогрелся в снегах, засиял над миром его кроткий, так долго спешивший к нему прелестный и единственный час! Уже смешил всех до упаду адвокат Петр Ильич, рассказывал о приятелях-борцах — Дяде Ване, Лурихе и Заикине, уже ругал видавший виды капитан

немцев и шведов, уже целовался с механиком своим Федором Карловичем Кранц, переименовав его в Федора Карповича, и уже тронула гитару невеста лесничего — стриженая, молчаливая биологичка с презрительным носиком в пенсне... А он все смотрел и смотрел. И все это было для него, для этого часа первой тайны, для них, ибо так уже всем своим существом жил Иван Иванович. Ибо успел пережить он за этот короткий час всю недожитую, совсем не бывшую жизнь и сделаться всем тем, чем он мог бы действительно быть. И в грусти и самопожертвовании — когда пела она вместе с Матвеем Алексеевичем просто и отличным голосом «Снежки белые пушисты...» — и ее, раскрасневшуюся, милую, прослезившийся капитан расцеловал в обе щеки. И в подвиге — когда он, пересилив страх и смущение, неожиданно для всех встал и громогласным баском предложил выпить «за счастье женщин», все закричали ура и он первый выпил огненный стакан до самого дна. Да и в безумстве и в счастьи, в конце концов — когда он, копируя Петра Ильича, взял нежную теплоту ее руки и впервые, всем зовом мира, полюбил эту руку и позвал еще раз свой час, а она ласково поправила ему сбившийся галстук уже с простотой соучастницы. И успел рассказать и чудовищно, сам не зная почему, налгать про свою московскую жизнь, не существующую, холеную и артистическую, так, как он представлял ее только в мечтах, по образу ночного купе в дорогом курьерском, катившем сквозь нищету голых белых полей, тишину своих раздушенных спален вперед — в огромный, сверкающий огнями и шумом бесконечный праздник. Она слушала, верила и помогала ему своим доверчивым близким дыханием.

...Я обещаю вам сады, —

читал над ним, над его сбывшимся часом, над притихшим столом и опустевшими рюмками Петр Ильич.

...С неомраченными цветами...

Потом кричали и хлопали неистово барышни, а черная, худенькая и порывистая дочь местного служителя культа просила прочитать что-нибудь революционное, и читал Петр Ильич о красном смехе, о крушении миров, а лесничий запел «Вышли мы все из народа». Но ввалились тут в дом ряженые — учительницы из села с угольными усами да доктор-шутник в вывороченной наизнанку медвежьей шубе, с помелом в руке — и спугнули у Ивана Ивановича его высокую и разгоревшуюся щеками подругу. И пошел такой смех и гомон от доктора и Петра Ильича, оказавшегося любимцем компании, что скоро высунулись и кукарекнули петушки в графинах и скомандовал волжский капитан на ночную вахту. И, действительно, давно пропели тогда в России самые глухие первые петухи и давным-давно воцарилась за окошками ночь. Но долго еще смешил девушек Петр Ильич, сочиняя поздравительные телеграммы, посылать которые было его страстью. И — разошлись.

Бог ты мой, какая торжественная лунная тишина изливалась в тот час, как разгорелись голубым, нездешним, далеким снега и как стлал яркие тени затонувший в белых постелях сад! Стоять ли недвижно, петь ли, плакать, слушать ли, как мороз тихо щиплет разгоряченные уши, или бежать, обнять задушевного друга и внимать не дыша, и слышать невозможные речи, что шепчет незримый огонь? Нет, ведать, нет, чуять всем сердцем под прялку седой тишины, нет, тихо баюкать единственный сон за окном, нет, нет, завалившись в зиму, неотрывно глядеть, как у пунцовой щеки, только

в мире одна, схоронилась коса, — и струится, и льется, и за стрелкой спешит в старину сей дивный, последний, сияющий час!

— Хомо сапиенс! — кричал под луной адвокат.— Представитель народа! Три, голубчик, свое рацио снегом — и все пройдет. Три — и поздравляю, брат! Ей-богу, заме-чательная... эта твоя самая... Катя. Ну, брат, смотри, теперь не качай! Да-с... А учителка, я тебе скажу, неомраченный цветок. Бди!

И хохотал, и шептал на ухо, и учил счастливого нашего мушкетера Петр Ильич, и бродили они, надо сказать, по колено в снегу. Именно так. Ибо что может быть лучше, мой друг, спящего дома в глуши, чорт его знает где, и вернуться туда, когда давно уже дышит бездумно она, и в час свой святейше, на цыпочках слушать и почти не дышать... Была не была, стоял отец Сергий один во всем доме и неведомо ждал. А после припал всем лицом к шубке ее и плакал, и целовал, потеряв еще раз душу свою. Ибо спала беззаботно в дебрях России гимназистка Катя Асмолова, спали мир и снега, а над всем, над великим простором полей и лесов, над снами и судьбами, источалась, как из волшебного фонаря, незримая ложь.

«Я обещаю вам сады...» Да, верил, да, ожидал чуда, да, тщетно ловил каждый шорох, да, уже был победителем, и вдруг с ужасом вспоминал все сказанное им, всю ложь и видел жалкую меблированную свою комнату... Просыпался в постели, и все казалось приснившимся и все становилось былью, от выпитого тошно сосало в груди, уносилась кругами голова, и страшным, чужим представлялся Петр Ильич, спавший самым невинным образом, с раскрытым ртом в золотых зубах. Катя! Катенька! Чудовищным бесстыдством являлись к нему его собственный смех, шопот с Петром Ильичом, все

слышанное им в купе, на Плющихе, — и краской загоралось в душе и на щеках от подарка, что вез он в своем чемоданчике. Катя, Катя! Всю ночь бросало его то в озноб, то душило страхом, и всю ночь ее сияньем, голубым спиртовым светом мерцало окно.

Но все же утром, когда вымыло тишину и воздух от разгоревшихся и стрелявших по всему дому печек, явилась она в снежном свете дня еще необыкновеннее, во всей домашней свежести и простоте. А после умывались, и держала она для него полотенце, и это особо умилило его и стало значительным. Петр Ильич смешил и врал, что катался во сне на медведях. Выпили они по рюмке настойки — и пошло тут все у героя нашего как по писаному. За столом посадили их рядом. И так просто, сочувственно, отзываясь на каждый намек, глядела, ухаживала, говорила она, так решенно и одобрительно смотрели на них, так шутил капитан и был мил Петр Ильич, что сняло с Ивана Ивановича всякий страх и снова и окончательно и совсем уже запросто вошел он в прежнюю роль. Елку решили зажигать вечером. И был крик, шум и восторг всем скопом, ибо подготовил капитан сюрприз: отдавал под елку свой пароход. И было решение — немедля отправляться за деревом в поход, на лыжах, под командой самого хозяина здешних лесов. А плутовка возьми да и пожми самым лукавым образом руку своего визави, да так тайно, что тот совсем потерял голову.

Как одевались, как возились на крыльце с длинными полированными лыжами и палками, какой заморской птицей в своем саксонском пуху предстал адвокат, как хохотал и хрипел и ругал немцев, глядя на него, капитан и каков был лесничий в полушубке и с топором за поясом и его подруга

в пенсне, — не запомнил Иван Иванович, да и все это давным-давно поросло быльем. Да и стоит ли это вспоминать! Но последней выбежала из дому она, и, боже, что увидел ясный и белый день! Представьте себе, как чисто, весело дышат щеки и волосы, как по-детски беззаботны коленки из-под короткой вязаной юбки и как хороша и тепла эта раздышавшаяся под выпуклой белой фуфайкой милая женская жизнь среди снегов и лесов! Только ахнул Иван Иванович и совсем ослеп от пушистой ее шапочки, от глупейшей ревности к ее расточительной юности и простоте, — и так вышло, что путался палками и лыжами в своем пальто, падал и отставал. И не видел, и не слышал, и не заметил, как волнисто и мягко наверху, на горах, укатана была тенями глубокая снеговая равнина, вся вышитая четками заячьих следов, как ровно и близко, — совсем рукой подать, — чернел на белом снегу зубчатый еловый лес и как Петр Ильич приставал к его Кате Асмоловой с неизменным: «Катенька, а где же Любочка?» — и показывал дамам классический финский шаг.

Первой вошла в лес биологичка в пенсне, добросовестная и строгая лыжница, и объявила своему Матвею Алексеевичу, что привал будет у оврага на В о л к а̀ х и что там и нужно обождать всех коллег. Так и порешило собрание. Кричал, торопился, потел Иван Иванович Иванов и наконец кое-как, с ног до головы в снегу, отыскал, услышал голоса и спор на весь лес и звонкую мечту свою, — но всем было совсем уже не до него. Только и взглянул на него один сотоварищ — лесничий, взглянул и спросил: «Ну что, брат, устал?» — и так, что понял измученный наш мушкетер, что всеми забыт и что лучше всего ему стоять в стороне и молчать. Да и в самом деле, события росли вовсе не по его плечам.

А дело заключалось в следующем.

Глубокой, чистой снеговой тишиной западал в лесу бездонно зиявший овраг, и объявил Петр Ильич пари. И вот на этих самых Волках узрел Иван Иванович его героический подвиг и услышал такой разговор:

— Ну-с! — сказал адвокат, поправляя потешную шотландскую шапочку. — Разрешите, господа, приступить к речи его превосходительства прокурора... Полагаю, заслушанные стороны адэкватны в своих сомнениях. Тем не менее! Тем не менее... Екатерина Михайловна, ваши три поцелуя — ммои!

— Вы сломаете себе шею, — усмехнулся лесничий и посмотрел в овраг, уминая снег лыжами. — А, впрочем... дуйте.

— Пусть едет, едет... Я поцелую его даже... — закричала гимназистка и остановилась, широко и неподвижно смотря ему прямо в глаза.

Биологичка спокойно курила, сидя на пне:

— Асмолова, смотри не просчитайся.

— Чья бы, чья бы, чья бы...

— Асмолова, ты говоришь глупости.

— Господа! — натягивая перчатки, многозначительно сказал адвокат. — Час расплаты близок. Аве Цезарь, моритури... Но к делу! Раз!.. Два!!

— Я еду с вами, — быстро добавила гимназистка, подвигаясь к нему. — Ну!

— ...Трри!!

— Катя! — не своим голосом вскрикнул было Иван Иванович, кинулся спасать, схватить, не пустить, преградить ей дорогу, но стояла она на своем месте, совсем затемневшими глазами смотрела вниз, и все смотрели туда, а Петра Ильича давно уж сорвало с его высоты и уже несло где-то внизу, далеко, по мягкому белому сумраку среди пышно-

пуховых лозин, и балансировал он палками и колебался, как парящий в воздухе лист.

Пауза.

— Добре! — первым сказал лесничий и погладил черную бороду. — Правильный мужик.

— Чудный! — воскликнула гимназистка. — Слышите, чудный!

И в тоске и в боли видел Иван Иванович, как восторженно и шумно ждали Петра Ильича, как притихла Катя, когда поднимался он обратно по пояс в снегу, — и вот появился, закричал: «Катенька, а где же Любочка?» — а она смешно и беспомощно запищала, спрыгнула с лыж, кинулась встречать, подбежала, сорвала с его головы вязаный пирожок и, растрепав ему гладкие волосы, вдруг обняла и положила голову на грудь, закрыв глаза...

И поцеловал ее Петр Ильич в губы три раза нежными, долгими поцелуями и поставил бережно на снег.

— Ух! — сказала медленно она, нисколько не смутившись, и поправила выбившуюся косу. — Здорово! Запомните, господа, меня целуют первый раз в жизни.

А биологичка потеряла пенсне, встала со своего пня и резюмировала:

— Асмолова, ты сегодня прехорошенькая. Матвей Алексеевич, командуйте дальше!

Давно занемог уже день. Давно затянулись лиловым лыжницы и настоялась в лесу торжественная, затененная висячими сугробами, хлопьями и уже синими снеговыми лапами тишина. И звучно и грустнейше для Ивана Ивановича отзывались в ней, осыпая с прутиков выпавшие снеговые шиповники, красные снегири. Совсем затишал лес, заугрюмилась тень и повернули уже домой, как вдруг, вновь и в последний раз, озарилась его

звезда. Взошла, загорелась, нежданно-негаданно, у самой опушки, обратилась к нему, отставшему в полном безнадежном отчаяньи, и так внезапно, неведанно, что отшатнулся он в ужасе от ждущих ее и ласковых глаз и совсем лишился языка. Она же подошла к нему, самым простейшим образом запуталась лыжами, упала и, встав и держа его за рукав, сказала медленно и раздельно так, что не забыть ему вовеки веков:

— Боже мой, а я ведь сегодня думала только о вас. Мой дорогой и единственный. Никогда, до конца жизни, — понимаете! — вы не скажете другой этих слов. Никогда.

Зажала ему рот маленькой теплой перчаткой, улыбнулась и как ни в чем не бывало потащила его домой и не дала ему сказать ни единого слова. И все торопилась догнать своих и хохотала до слез над неуклюжим и неопытным лыжным своим партнером. А у самой горы, повисшей над туманной глубиной мертвой реки и зарослями берегов, притихла, и впрямь расплакалась и твердила, утирая платочком глаза: «Я гадкая, гадкая... И никогда, я это знаю, не буду счастлива», — и подарила спутнику этот мокрый от слез платок. В голове же спутника окончательно утвердился полнейший сумбур, так как с этим платком опять поил его волжский капитан за столом, так как ни единым словом и жестом не приблизилась больше на снежной горе его святочная звезда и так как перед самым рождественским торжеством поведал он по простоте неуверенной русской души, не утая ничего, все до последних крох другу Петру Ильичу.

Меценат хорошо знал жизненный счет. Выслушал опытно, одобрил, уничтожил до самодовольной, подлейшей и пьяной улыбки на ученике своем все иксы и игреки, и был утвержден полный воен-

ный план, и очутился в кармане Ивана Ивановича, рядом с платочком, страшный мушкетерский коробок, во славу российского оружия. И двинулись мушкетеры в бой.

Вечером в салоне, дышащем теплом двух керосиновых печей, мерцающем многоярусным сиянием елочных свеч, блестками, звездами и флагами, сказочно осветился совсем умерший и насквозь морозный Алексея Силыча пароход. В глубочайшем покое, в забвеньи коридоров и стен, нарядно и глухо прорвался рояль, — но, как всегда, пустовали тишиной гладкие палубы, черные окна и лесенки в заставленной и разграфленной геометрией лунных теней тесноте распластанных труб, тентов и крыш, прикрывших своими громадами застывшие и погруженные в живую и вечную речную темноту железные корпуса. Стучал караульщик, молчал пароход, и никто в мире не знал, что произошло в эту ночь за плотно прикрытыми его носовыми гранеными стеклами. А к девяти часам оставил там волжский капитан одну молодежь, замирали уже в зеркалах и хрустальных подвесках последние лесные сияющие огни, и усиленно подливал Петр Ильич шампанское своей голубоглазой учительнице, рассказывал, как он летал с Уточкиным, и уже танцовали — Матвей Алексеевич русского, а Иван Иванович вальс. Но всех возбужденнее, в своей беличьей шубке, всех счастливее от огоньков, запаха свеч и хвои, от собственной музыки была высокая Катя Асмолова. Пила и она, пили все — и предложил Петр Ильич очередной тост, и подмигнул лукаво другу.

— Милостивые государи и милостивые государыни! — начал он, поднимаясь с места и отбрасывая прядь желтых волос с выпуклого лба. — Отец Сергий, не надоедай своей даме. Внимание. Напомню

вам, что во времена Рима, в подобный таинственный и многообещающий час вносился на пир человеческий скелет. Авэ! Нунк эст бибендум, содалес! Ибо жизнь, господа, есть относительность, а реальны и вечны одни лишь воспоминания. А посему, — внимайте, дамы! — должен каждый из нас ночью, сегодня, положить в любимую шубку избранницы какой-нибудь сувенир, храня безусловно полное инкогнито.

— Правильно, правильно! — захлопала в ладоши учительница.

— Что правильно? Я еще не закончил. Предадимся же Вакху, ибо становится весьма и весьма холодно, вонзайте штопор в упругость пробки, — и пью я за превращение дня в тайну прошедшего и, запомните, за блистающую, как эта елка, женскую душу прелестной и неповторимой Екатерины Михайловны. Ур-ра!

— И она догорит, догорит и... — под крики, шум и хлопанье закончила гимназистка, бросила полный бокал на пол и, заиграв что-то бурное и стремительное, сразу оборвала. — Господа, мне очень хочется умереть! — сказала она, вставая из-за инструмента.

— Катя, ау! — крикнул ей адвокат. — Ванитас ванитатум эт омниа ванитас!

— Асмолова, ты сегодня ведешь себя странно.

— А ты страшно умная, и ничего не понимаешь.

— Катя, ау!

Приглушенно разбежалась, загудела и запела клавиатура. Рокотало по коридорам, с лунным промерзшим светом у потолка, звякали подвески люстр в салоне, лихо танцовал Матвей Алексеевич со своей нареченной, топая валенками, и уже колебались и путались тени еловых ветвей в догорающем зареве свеч. Тут-то вдруг решительно и бесповорот-

но захлопнула гимназистка черную полированную крышку, объявила во всеуслышание, что она пьяна и отправляется с Иваном Ивановичем Ивановым на решительное рандеву. Замешкался было тот, похолодел внутри, но, — да будет свята вечная женская прямота! — потребовала она свечу и бутылку вина, прикрыла лицо ему пушистой муфтой и, под шумный восторг Петра Ильича, повела его прямо в гулкую и пустую темноту... И когда очнулся тот и пришел в сознание, то увидел себя одним в мире, наедине с обольстительной и страшной своей судьбой, одним в чуть освещенной лунным окном каюте, где-то в дебрях глухой и снежной России. Молчала она, молчал пароход, прошли по коридору тихие голоса, отодвинулась где-то рядом и щелкнула дверь — и все замкнулось в полнейшем молчании. Только ее дыхание! Только ее побледневшее лицо, в упор расширенные и неподвижные зрачки и это ошеломляющее «Ну!» в смеющемся шопоте...

Вздор, вздор, мой дорогой друг, что говорится приятелям о нашем мужском инстинкте. Ужасный, нас унижающий обман — эта армейская пошлость и лихость, чудовищно живучая и в иных, сегодня растущих новых поколениях. Тысяча раз нет, — вчера, сегодня и завтра, — не существовало никогда и нигде выдуманного императором Страхом гусара в миллионах Иванов Ивановичей, и тысяча раз да — восходила и будет восходить в них, пусть самых алчных и корыстных, перед объятьями любимой, сквозь ложь и грязь всех условностей, чистейшая нежность и беспомощный жар, влекущие в жизнь будущего. Беззащитным, нагим предстоит он, тянущий сухие руки свои, — и вздор, пакость, оскорбленный ложью и страхом, скабрезно потом рассказывает вагонными анекдотами. Бро-

ситься ниц, найти защиту, упасть на колени перед ней, перед этим прекрасным чудом и воплощением жизни, хотел мушкетер, но эти минуты погоняли минуты, отнялся язык, где-то в детстве затерялся он, настоящий, подлинный, созданный для этого мига, — и то, что свершилось, сделано было кем-то другим, позорным, не им. Но свершился грубый и мерзкий позор. Как, что, почему и зачем? Только и помнил отрезвевший наш мушкетер ужас и стыд, непроходимо бездарную фразу: «Когда женщина дерется, то ее целуют», — твердилась она без конца в полном смятении рассудка, а затем исчезло все. И московские, столь блаженные мечты, и ласковая святость ее рук, и тайна — до слез, до рыданий — все в ее беспощадном, отшатнувшемся, изумленном и грозном, и сразу чужом и взрослом лице. И — полетело к чорту.

— Ненавижу вас, ненавижу! — билась она почти в истерике, топала ботиками и комкала муфту. — Так грязно и гадко! Боже мой, так отвратительно и плоско...

Она задыхалась.

Потом кусала платок, недвижно смотрела в окно и, гневно отбросив трясущуюся его руку, быстро и шумно ушла. А через минуту, прекрасно и грустно в покой коридоров, за стенки кают, вдоль лунных теней, явилась и разбудила пароход ее музыка.

Напился Иван Иванович в ознобе своей каюты прямо из горлышка. Позор шел уже на него отовсюду. Нестерпимо спокойно стояли в окне трубы и лесенки, — как чист и глубок был этот нездешний свет, кусками лежавший на оцепеневших палубах! Голоса из салона и музыка казались потерянными и невозвратными: стеклянная, освещенная пианинными свечами дверь его отшатнула. Там пел и играл его позор. Щеки его пылали, в глазах

расплывался скользкий, прямой коридор, расступалась и падала темная лестница, и не сердце, — шумные вздохи машины, мягкие содрогания лопастей несли пароход, — и он плыл уже, плыл, плыл... И она — мимо, мимо, в белой соломенной шляпе, и мимо: туманы с коростелями, запахи мокрых весел, красная лампочка бакена, закачавшаяся в чьей-то, какой-то памяти. Позор наступал все беспощадней. Внизу, у машины, его рвало, но и здесь неумолкаемо звенела все та же зловещая тишина, ее тишина, и невозвратно, с кем-то молодым, мужественным, свободным, исчезала глубокая, волжская, расступившаяся было жизненная даль. Не в нем, не в нем — бывалом, жившем и беззаботном, добром и великодушном — мелкой и липкой изморосью вдруг выступила дерзкая и острейшая обида. Его искали — и он не откликнулся и уже злобствовал. Еще раз он услышал ее чуть долетевшую в глубины пароходного корпуса музыку, чьи-то голоса совсем рядом, но позор затаил, сковал навсегда его прошлое, как злобный, старый мороз.

Абзац, абзац!

Ибо суждено было испить герою чашу предельную. Ибо звезда его канула там, вспыхнула и осветила горькое вино до самого дна.

Неизвестно когда, неизвестно зачем, поднялся он — решительный, злобный, мстящий — ощупью наверх в коридор. Совсем уже слабо, последней свечой мерцала полураскрытая стеклянная дверь, искрилась блестками темная елка, и голос Петра Ильича — нежный, вкрадчивый и поющий — услышал он сразу отчетливо. И сразу, поднявшейся шерстью, древними бесшумными лапами, учуял — втроем, втроем далеко окрест дышали только они в тишине. Остальное он понял, подкравшись, не сразу.

В салоне призрачно колебались тени.

Запрокинутая шея ее, с рассыпанной темной косой, безвольно лежала на плече Петра Ильича. Остановившимся взглядом, старчески-стеклянно смотрел адвокат. Но страшнее всего ему, затаенному и уже раскрытому, была бесстыдная мужская рука и ослепительно белое, полное, наполовину прикрытое ей, ужаленное за бельем черной и тугой перевязкой чулка.

Пауза.

— Дурак! — медленно и почти грустно сказал адвокат. — Дуррак и подлец!

И тут всплеснулась руками, вскочила, схватилась за юбку и остолбенела, закрыв лицо, она, а Петр Ильич с неожиданным диким воплем: «Вон! Вон, пьяный скот!» — кинулся зверем, в один мах вышиб своего ученика в коридор, по лестнице, в темноту...

Финиш. Конец музыке, но не славе оружия мушкетерского, так как он впереди, а в трубочном дыме кивают нам лица и сладчайшие тени далекого. Вдыхайте же этот любезный и старческий дым!

Он жил, и он не был. Затяжка еще... Я бы сказал, что, конечно, не он, а кто-то нашептанный империей снежной, кто-то другой за него положил в эту ночь в драгоценную шубку подлый свой сувенир, завернутый в свой первый и последний крохотный женский платок. Но все же смутно, грязно и пьяно спал в капитанском доме не кто иной, как Иван Иванович Иванов. И сразу, как в тусклый рассветный кабак стучится полиция, беда нагрянула и постучалась к нему со счетом в руках. Действительно, сложились его дела безобразно. Ибо, проснуться бы раньше, согнать пьяный вздор, кинуться бы ему к вешалке — и хохотать, быть может, ему с Петром Ильичом на Плющихе, вспо-

минать и создавать легенды о военных подвигах и даже — прославиться. И ведь спешно уже, как все слабые, наполнялся он великодушием, прощал, извинялся и давно вернулся душой в свои сто двадцать пять и меблированные, проснувшись в это серое, с падавшим снегом утро. Но в доме — не знал он — успел уж наделать его подарок грандиозный скандал, и раскрылся он за чайным столом, всенародно, по неведению гимназистки Асмоловой, показавшей всем полученный ею ночной сувенир, — а сейчас лежала она вся в слезах, а старик-капитан целовал ей лоб и отечески гладил волосы. И сквозь слезы ласково улыбалась она Петру Ильичу. В дальнейшем же — натягивал Иван Иванович брючишки, и тряслись коленки его и руки, а над ним, совсем близко, опершись обеими руками на стол, и во весь рост, исподлобья глядя прямо в глаза, стояли адвокат и лесничий Матвей Алексеевич.

— Мы с вами больше не знакомы, гос-по-дин Иванов, — говорил жестким шопотом Петр Ильич, и на лбу его набухали жилки. — И еще раз объявляю вам, что вы подлец, Хлестаков и ничтожная, слякотная дрянь!.. Молчать! И если вы посмеете сказать хоть единое слово, мы выкинем вас из этого дома, как щенка. Алексей Силыч просил передать, что Екатерина Михайловна Асмолова — дочь его старого друга и начальника. Вам же следует по чину обращаться в публичный дом. Слышите? Адрес я передам вашему возчику. Матвей Алексеевич, вы распорядились?

— Лошади готовы, — сказал лесничий и передернулся: он был совершенно бледен.

— Отлично. Соблаговолите немедленно убираться со всем своим сухаревским скарбом...

Но тут уже Иван Иванович рыдал.

— Чорт его знает что! — вдруг гневно и страдаль-

чески, с влажными глазами крикнул лесничий, круто повернулся и хлопнул дверью.

— Я... я... — бормотал, закрыв лицо ладонями Иванов. — Но... за что, за что... и за что... со скарбом... — и захлебнулся.

Никто, никогда, нигде в мире не услышал и не понял его слез. Никогда! Боже мой, мне так грустно сейчас за него, мой друг. Но мир был чужд и страшен, морозно бежала Россия, навзрыд застилались поля, и шорохом, полным забвенья, падал и падал снег. А на станции подал возница странному своему и несчастному барину записку. Там почерком адвоката Петра Ильича еще раз ударило в самую душу, и ловко, изуверски-хищно полоснул сердце позор.

Что было после, спрашиваете вы? Да было ли вообще это после с нашим Иваном Ивановичем! Нет, еще жил, глубоко закопал свои обиды и позор, утверждался, креп по мере сил, как все прочие, и чем дальше, тем глубже, могильнее, невозвратнее уходило его подлинное существо и то, чем он должен бы стать в подлинной жизни. Нет, все увереннее и спокойнее, по мере успехов и сытости, ловко и уже привычно прятался он от всяческой наготы и настоящего смысла, а там, в глубине его правды, кругом в необъятных потемках России поистине жутко пели вещие, судные петухи. Уже исполнялись сроки. Корчилась, плясала, звонила, пила, лгала до безумия и в страхе ломилась к богу давно ночная, погибающая, разливанная Русь. Страшные вещи писали тогда имевшие уши, но не прозревшие мрака редкие подлинные писатели. А слова других, прозревших, падали в иные, далекие от Ивана Ивановича поля и земли. Страх, безумный страх стоял на коне, — и снова на тройках, с цыганами, в разгул и забвенье, мигнув бубенцами, от Гоголя к

нам — все та же: «Русь! Русь! Куда же ты несешься, куда скачешь и над какой пропастью сорвешься ты?»

Но не слышали окрест, надсмеялись, заперлись, согласились во лжи, и в них, среди многих сытых и умных, средь московских, окарауленных улиц, но уже в отдельной квартире, с мебелью от Мюра и Мерилиза, с богатой и вздорной женой, хорошо схоронился Иван Иванович. Все дальше и дальше утекала вода, копились годы, и так мирно и верно прижился наш герой, и так властно и хитро держали его в доме бывшей мадам Попандопуло, что жизнь уже казалась ему справедливым, приятным сном. А Петр Ильич исчез, канул — только и видела его хлебосольная Москва. Раз только встретился Иван Иванович с его именем, по своим страховым делам, небрежно поморщился и перевел разговор. Лишь где-то внутри, совсем на излете, в последний раз, пронзила его острая и нежная боль. И музыка Кати Асмоловой исчезла в России уже навсегда.

Теперь же заключительная, существеннейшая и последняя часть. Внимание, мой друг, внимание! И — негодуйте: мертвые сраму не имут. Ибо догнили уже кости тех, что правили тем поспешным, диким и жадным пиром, который загудел, зашумел за упавшей душным громовым летом войной... О ней узнал Иван Иванович в Ялте, в Крыму. А кругом заполыхали тревогой, завыли губернии и уезды, запричитали плачем и гудками вокзалы и пристани, отдались маршевыми песнями города и уже росло и покатилось на Пруссию раздирающее душу мужицкое «ура». И пошла тут писать губерния! Еще ярче, наглей, отчаянней засветились сквозь мазурский кровавый туман, запели смычками столицы, — и понеслась над пропастью, по горло в шальных деньгах, предсмертных попой-

ках, скоропостижных офицерских свадьбах, под вечную славу и память, золотоплечая карусель. Но скромно и тихо, как и подобало ему, устроился Иван Иванович в «Союз городов» и славу оружия российского нес в энском губернском городе земгусаром. А там тоже давно сорвало тишину и давно подхватило и бросило сирени, домики, присутствия и скворешники в новый, не ведомый никому раньше, холодивший сердце разгул. Посходили с ума, запели «Кокаинетку» и «Ваши пальцы пахнут ладаном», переполнили улицы высокие полногрудые женщины с именами — Мура, Ия, Анеля, из Вильно, Полоцка, Минска, в юбках клеш и модных туфельках «Вэра», с яркими карминными губами и такой синью в глазах, что начались тут повальные гимназические триппера, что зазвенели и затрещали стаканы в загородном ресторане «Венеция», и шла там, под кофе по-варшавски и пирожное «Наполеон», женская французская борьба, лопались на неистово освещенной сцене тугие шелковые чулки и до полночи, под визги и хохот, взлетали к небу и рассыпались драгоценностями раскаленные змеи ракет. И ночь напролет осыпался к вокзалу шинельный топот, звякали буфера и уходили вагоны, бессонно шумел винный завод, где точились гранаты, и ночь напролет в третий раз на мокрых лугах надрывно кричали коростели, а над всем — над слезами, над письмами, над муками госпиталей, над сокровенной тайной войны — высоко воссияли: деревянный крест и окровавленный китель с офицерским белым Георгием.

Русь! Русь! Куда же ты?

Нет, верил, нет, ждал, звякал опереточно шпорами, носил кокарду и бриджи, и уже с музыкой, за обожаемым, бесстрашным, святым Георгием, со всем ошалелым содомом, за раскатами ура, — пусть в

яму и в страх, но лишь бы еще раз, напоследок, жить, жить всем существом, губами и телом, всем ощущением! — жадно и стремглав погонял вперед.

И — встала.

Накрутила столбы пыли, прогремела оркестрами, ударила громовой славой Перемышля — и вдруг свернулась глухой заборной скукой, грязью, солдатскими щами и бородами и поползла карпатским холодом — война. А после все — Россия, дремучие тайны орлов, крестики и малиновые темляки, прапорщики и сестры с кровавыми крестами на косынках, усадьбы и голубые снега, генералы, звякающие в синих длинных вагонах, буфеты первого класса со шпорами и пирожками, девочки, карты, пирожные — все вздыбилось у серой шинельной пропасти и полетело к чортовой матери...

Доскакали.

Жена отказала Ивану Ивановичу в тысяча девятьсот восемнадцатом году. Ужасен был день — день его возвращенья, когда принес он в шинели своей без погон всю страшную быль, что ходила по улицам, что гналась за ним по путям и на станциях, что ревом убийства бросала в окопный озноб. Он ждал утешения. И сразу грязью и мерзостью рухнула на него вся их прежняя, столь удобная, обжитая и все же обыкновенная ложь. И хуже, грубее, беспощаднее, чем там за стенами, ибо там еще, в полях и на улицах, во дворцах и домах, бился, хрипел, призывал и таких вот, как он, вездесущий, обещающий все прежнее, высочайший и единственный император российский — Страх. И он полетел в его бездну, во имя того, что всегда и везде раскрывается ложь до конца, и непреклонней и мстительней всего — в любви, и все лучшее, сильное, вечное утверждает и раскрывает в себе человек через любовь. А теперь, как

далеко в годах, снова расхохоталась над ним, презрительно призналась сразу за всю жизнь, выгнала вон, и деньги ему отсчитывал некто, почти такой же, как Петр Ильич.

Налетело безумие. Закружило, подбросило, как рваные «Русские ведомости», с шелухой тротуаров понесло меж солдатских сапог, забрызгало кровью, вырвало с мясом из жизни, и подуло тут таким ветром и страхом, такими бесами и метелями, что исчез Иван Иванович в мути годов, ни в чем не разобрался, ни во что не поверил, и выкинуло его в тысячах прочих уже у Колчака.

Мгновение, остановись!

В Омске, в тот весенний вечер, у перрона вокзала стоял на парах блестящий поезд верховного правителя и главнокомандующего всеми вооруженными силами мертвой России. Еще далеко за Уральским хребтом ползла гибель, еще с музыкой шли туда армии, но никто из бывших здесь не ведал близкой и последней судьбы. Светлый вечер нарядно взлетал оркестрами, взрывалось, падало ура,— и разом в тишину караула, поджатый, черный, бесстрашной четкостью адмиральского шага, вошел тот, в ком — жизнь и надежды, жизнь, опьяненная аксельбантами и орденами, молодцеватым щелканьем, боевыми, красивыми, в перетянутых кителях и синеве рейтуз, что пойдут завтра на смерть, на славу, и ради которых эта даль, истаивающая на Москву, этот вечер и букеты, и взволнованные перчатки дам.

И на вытяжку, совсем как юнкер, стоял израненный под Порт-Артуром, высокий, с раздвоенной и седой бородой генерал. Потом ударило три, закричали, заиграло «Коль славен», и мимо стоящих под козырек поплыл неподвижный вагон «с ним» — спокойным, надежным, засовывающим мах-

ровую веточку в петлицу из летящих под колеса, в окна, на рельсы белых и сизых охапок цветов...

В последний раз для них ночным, до самозабвенья зовущим запахом оделась и опадала сирень.

Но не ведал этого никто, и особенно шумно и весело, за поездом, ушедшим туда, где страшно темнели пути, провожали иркутский. И суждено еще вам встретить именно здесь, в двухместном второклассном купе, героя моего Ивана Ивановича. Даже больше, не только его — пополневшего, в штатском, с бородкой и стрижеными усиками, но и эту сирень, чем прославлена приволжская наша провинция. Короче сказать: за минуту прощания, привел к двери купе плотно-ловкий и черный сербский офицер высокую даму в косынке с крестом и огромным букетом в руках. Потом, как полагается, поставил носильщик на диван портплед и небольшой чемодан, ждали они напротив, офицер шепеляво и ласково-фамильярно говорил ей на ухо, она водила перчаткой по стенам и сводам вокзала, стоящим в зеркальном стекле, отсчитывал колокол, взревело вдали, и, перецеловав усами руку ее до локтя, уже на ходу соскочил офицер, и отрезало его, в оскаленно-белой кошачьей улыбке, вагонным стеклом. А дама стояла, прижав свой букет, качало ее на стрелках, и смотрела она все в темноту.

Познакомились они странно. Просто взошла, взглянула темно и блестяще и сказала тоном, привыкшим к полному ей подчинению:

— Вы в Николаевск? Чудно. Будьте мужчиной, развяжите портплед и поставьте в воду мои цветы.

И бросила ему распавшийся белый ворох пахучих кистей.

Все. Только и помнил он, возясь с проводником у какого-то кувшина, высокую стройность ее,

запавший и откровенно подсиненный взгляд и что-то очень знакомое в голосе, но не более. И он ничего не узнал, хотя и взволновался. Взволновался он и у двери под ироническими взглядами в упор глядящих на него двух офицеров, куривших — соседей по купе.

— Сестра, разрешите? — постучался он.

— Не разрешу, — спокойно ответили за дверью.

Он ждал.

— Вы из России? — спросил опять как будто совсем знакомый ему голос.

— Да. А что?

Она помолчала.

— Ничего. Я очень люблю английские сигареты. Но... входите, отважный рыцарь!

Она лежала, закинув холеные нагие руки, без косынки, и тайной, и ожиданием чего-то невероятного содрогнуло его от белой изогнутой и выпуклой тени ее, закрытой верхним диваном от матового плафона, разливавшего свет. Молчали. Он поставил цветы, повернул выключатель и, раздевшись, лег. И уже летело сквозь темноту земли притушенное ночное купе, уже спали, забывшись под ровный успокоенный гул, уже забывали о тревоге, витавшей денно и нощно над пустыней сибирских болот, и лишь у офицеров впереди, ночью, нежданно-негаданно, вскакивал в холодном поту кто-то молодой, счастливый и, нащупав холодное, плоское, долго глядел в безлюдье мелькающих беспощадных равнин. И остро благоухал, кружил голову, звал и надеялся, вместе с Иваном Ивановичем, и несся вперед, как и он, все дальше и дальше от тех, что остались там, рядом со зловещим шопотом с боевых фронтов, дурманный и предсмертно опадающий мир. Увядала и пила воду сирень. И умирал ее мир. Как музыка, изнемогал он неведомым,

уносился и вновь возникал, и тосковал и звучал призрачным, очарованным запахом. Гудела ночь. В забытьи, совсем вне воли, к нему, к этому миру, обратился вполголоса, что-то сказал Иван Иванович. И сразу, из темноты внизу, ответил ему спокойный женский голос:

— Это мои любимые цветы. Однако спите. Я вовсе не намерена разговаривать.

Гремела, ликовала, гудела непобедимо и уверенно, спокойно укачивала ночь.

Потом вдруг огненной вспышкой бросило на диванах, остановилась и подпрыгнула ночь, погасило огни, и в чугунных спазмах грохотом, скрежетом, стопудовыми молотами, где-то у самой земли, запрыгало, потащило — и поезд встал. И в черной тишине забился отчаянный женский крик, а повсюду торопливо вскакивали, ударяли дверьми, кто-то пробежал, звеня шпорами, вдоль вагона, кто-то придушенно кричал: «Окна! Откройте окна... Поручик, патроны, патроны, чорт вас дери!» — и давно в единое стучащее сердце и обреченное, сдавленное дыхание превратился темный застывший поезд, и ожидание наведенным дулом стояло там, за окнами, в загадочной вражеской тьме. А в коридоре, где прижался, вжился всем своим бытием в холод стены наш Иван Иванович, билась в истерике его спутница, и шикали и злобно шипели на нее из кромешной тишины впереди. Затем в ночи у самого паровоза гулко шарахнулся выстрел, и тут совсем уж в отходной, до звериного воя, до последних конвульсий тоске услышал он, как беспощадно щелкнул кем-то взводимый затвор...

Неожиданно вспыхнул свет.

Однако страшнее еще ему, босому, в одном белье, показалось увиденное. И непоправимее всего, живой гибелью, стояли перед ним накрест перетяну-

тые подтяжки, спина и пригнутый затылок офицера, держащего к двери черное и тонкое, как жало, дуло взведенного маузера.

Хотел не поверить, притвориться кем-то незапамятно прежним, бедным, ничтожным, упасть на колени, не знать, не видеть, стать снова тем — в нищей выгоревшей фуражке, с обедом в кухмистерской, — кричать, что не он, не он здесь, а вот эти сытые, наглые, презиравшие его всю жизнь за штопанные носки и потертые брюки — только бы жить, жить и не слышать, не видеть, не знать! Но ближе и ближе надвигалось, кралось из тьмы, нарастало неясным криком, — пригнулся совсем и врос в плечи свои офицер, и в черную яму, в смерть рухнул вагон от близких совсем, неотвратимых голосов...

Он остался живым. Смеялись особенно громко и беспечно, притворно шутили, нежно поили полумертвую сестру валерианкой, какой-то молодой со стеком молодцевато-небрежно рассказывал о бревнах, брошенных поперек рельс, о тонягемашинисте, о расстрелянном кочегаре, пытавшемся помешать торможению, и что покажет им скоро неведомый Ивану Ивановичу капитан Червицкий, и вообще вся «эта красная сволочь» не стоит роты его солдат. И юмористически уже хохотало офицерское купе над известным всей бывшей империи министром, выбросившимся из окна. Но попрежнему черной жутью глядела и зловеще дышала сибирская ночь. И попрежнему над всем освещенным и неспящим поездом стоял непобедимо и таинственно страх, и не случайно нервно опускались рамы и поспешно задергивались шторки у широких зеркальных стекол в эту возвращенную жизни ночь. И опять в купе Ивана Ивановича обреченным, уже погибавшим на своих последних

Уфимских степях, одуряющим, душным зовом, сквозь тоску валерианки, благоухала сирень.

Жить, жить, только бы жить! Тронулся поезд, и жизнью снова победно и уверенно грохотало, гудело и подстукивало внизу у колес — для них, опомнившихся, жадных к дыханию, полураздетых, забывших о всяком приличии и словно вышедших из древнего, утробного сна. И, надо сказать, плохо, совсем плохо обстояло с сестрой. И уже весь страх пережитого переселялся для Ивана Ивановича — и в то, что просила она ни за что в жизни не гасить свет, ни за что не уходить от нее, и в то, что устроился он у нее в ногах, и всего его трясло от ее разведенных до неприязни зрачков и совсем черных и обнажившихся в резких складках давно прожитых губ. Хотел говорить — она не ответила и курила, курила без устали. Сквозь дым папирос и зыбкий туман бессонницы видел он снова что-то очень знакомое в ее чертах и никак не мог разгадать — что. И видел еще, что долго возилась она со своим чемоданчиком, и вдруг заснул тем странным, безразличным ко всему, хоть к самому дьяволу, сном, что знаком всем, кто годами жил под смертельной опасностью. А там, в этом сне, почти на рассвете, когда давно села в поезд охрана с двумя пулеметами, когда зеленело уже над пустынной пролетавшей землей, вдруг рвануло его и бросило... Вскочил, хотел было защититься от схватившей его клещами загадочной силы, проснулся — и был уже с ней, с женщиной, всей грудью прильнувшей к его голове, нестерпимо сдавившей шею и гневно, придушенно и безумно тянувшей все его тело срывавшимся шопотом: «Мне страшно, страшно! Боже мой, ну ближе, скорее... Ведь вы же мужчина! Мне страшно, я не могу, и ведь конец, все равно скоро один конец...»

Боролась, оскорбляла, сорвала с себя сорочку и была отвратна, и гневно отбросил он то бесстыдно-спокойное и циничное, что протянула она ненавидяще и что на мгновенье пронзило его дальним, дальним позором и что еще раз решило его мужскую судьбу. Ибо вновь завладела им самолюбивая — владыка всей пошлости — мушкетерская ложь. Ибо снова пал он под ее презреньем и снова летел в ложь, — и несся, очертя голову, скрежетал и гремел железный буран, — а повсюду, вокруг, в примятых коленями белых персидских гроздьях, задыхался, стонал в сладких судорогах, истязал до страданий, дурманил без конца и без края ненасытный, лживый и жадный умирающий мир.

Рассвело, — и шел поезд на полных парах.

Нестерпимо чужим, враждебным и неподвижным, как у ящера, взглядом стояли ее близкие, еще соучастные глаза. Молчали. Что-то страшное и знакомое в этом взгляде обозначилось вдруг Ивану Ивановичу. И нежданно, спокойно приподнявшись на локте, слегка прищурившись, медленно и в упор сказала она:

— Помните ли вы, — и назвала полное его имя, отчество и фамилию, — как с вами вместе, — да, да, не бледнейте! — встречали мы рождество в тысяча девятьсот двенадцатом году?.. Как же вы смеете играть эту комедию и смотреть прямо мне в глаза? Молчать! Ни единого слова. И знайте: той девочки, что называлась Катей Асмоловой и что, — слышите! — была влюблена в вас, глупый и подлый вы человек, больше не существует. Запомните — перед вами сестра Невельская и ее завтра или послезавтра, не все ли равно когда, расстреляют. И вас также, потому что она очень и очень многое знает, и нигде, никогда и никто ей

этого не простит. Слышите вы, несчастный... рыцарь! И не смотрите на меня пожалуйста такими бедными, перепуганными глазами. Да. Мы квиты, понимаете, полностью и навсегда. И вы меня теперь не забудете. Ну, а сейчас убирайтесь! А впрочем... еще вот что: я теперь хуже, стократ грязнее и подлее вас, и мне все равно. Все уже кончено. Знайте же, что такой меня — первый из многих — сделали вы. Вы — жалкий и все же, представьте, близкий сейчас мне, отпетой и падшей, человек. И мне чуть-чуть за вас грустно. Петр Ильич был моим мужем, это было так давно, и, бог ему судья, остался и погиб на нашей работе в Петербурге. Конечно, вы не стоили и не стоите одного его мизинца. Вы... но ладно. Прощайте... И давайте сейчас помиримся и... кончим весело и честно хоть раз всю эту музыку. Вы не поняли? Глупый. Я буду первой, но сделать должны это вы. У меня нет сил и мужества. Вы же должны. Здесь, в моих любимых, нежных и прелестных цветах. Может быть, снова я стану молодой и счастливой, как, помните, давным-давным и давным-давно. Ну-с, мой дорогой, милый, невозвратный, мой смертный жених, будьте мужчиной, поцелуйте меня **тогда** крепко, крепко, и я вам прощу... Держите!

И подала ему из-под подушки никелированный, плоский и изящный такой пистолет.

Конечно, он не исполнил ее просьбы. В день, другой, третий и долго еще в годах бросало в дрожь его, било, как в лихорадке, и валило навзничь от минуты, когда жалко мял он разбросанные по полу белые цветы, воровски собирал чемодан, крадучись оставил молчащее купе, а в стеклах вагон-ресторана все еще жили ее черные губы, ее истерический хохот, и блестящий шприц и уже обедневшее совсем и вдруг милое лицо в глубоком, растерзан-

ном морфием сне. После же всего этого пришла казнь.

Три недели спустя, да, именно так, поил его из стучащего холодного стакана, раздел, быстро взглянул и умертвил одной фразой спокойный и сразу ставший серьезным врач. И конец, конец, мой милый друг, опускается занавес, уже заколачивают гробовую крышку, врач долго моет руки у умывальника, — и разоблачен человек донага, и сидит один-одинешенек на корточках перед зловещей багровой луной, и воет, воет, как тысячи лет назад, и молчат пещеры, и ползут темные призраки, и он отвержен, оставлен всеми и не знает, кто он таков. Давайте же, выкурим трубку прощания и мирно отпустим умерших, ибо кончился день наш, умер давно миллионный Иван Иванович Иванов, сгнили кости России и гимназистки Асмоловой, и раздета, сожжена и развеяна по ветру вся эта подлая ложь до конца. Ибо еще раз в те морозные сибирские годы страшного суда пришел к герою нашему, обнажил его до пределов, выспросил все дочиста, выслушал некто, более сведущий, пытливый и знающий, со сталью в руках, беспощадней всех хирургических инструментов в мире, — и без наркоза, так чтобы видел сам человек, бесстрашно и верно раскрыл и показал ему отвратительные и заразные его гнойники. И рассыпались тут миллионы лживых книг, и отовсюду, куда прикоснулась эта новая, все познавшая рука, хлынула и потекла изогнанная, отвратная, зловонная ложь. И пал тут не кто иной, как сам великий, непобедимый во все времена человеческие, одинокий Страх, и разверзлись все глаза, что смогли еще видеть, и уши тех, кто мог еще понять, что мыслили, жили и любили они вовсе не своим мозгом и сердцем, да и не поруганным и давно забитым телом своим. А, как

известно, те, кому нечего терять, обретают правду. Аве! Аве! — как говаривал когда-то покойник Петр Ильич. Так бросим же заздравный бокал, и да кончится наваждение, и да будем жить, зная место свое в мировой борьбе, не постыдимся подлинного своего существа, будем знать, а не верить, и да будем любить, да так, чтобы каждую тайную мысль свою осмелился всенародно сказать человек. Руку, товарищ! И, девочка, была не была, выбери-ка молодому человеку самый нестерпимый букет...

В тот год молчаливых событий, в коммунистический год полевых сражений, в тот год тридцатой весны столетия, осыпались сирени республик под беззвучные громы истории. В мире еще не было такой близкой к будущему, к полному свету и половодью весны. Никого еще не звали так чисто и шумно высокие дни, никому еще вечера не дышали таким ожиданьем, запах верной надежды не окутывал так бурно площади, заводы и улицы, плыли прозрачные реки, над гнилыми крестами впервые изнемогали так смертно и устало сизые и белые кусты. В те дни земля зеленела новыми всходами — и всходы уже принадлежали всем. В тот год, в ту весну впервые облицованы были тротуары могильными мраморами и дети в Москве продавали наломанные на кладбищах густые цветы...

И вся планета распускалась борьбой.

Нате же вам, дерзкий, смелый и молодой победитель, этот, подаренный мне ночью на Театральной, лиловый и пахучий букет, ловите. Лицо — в эти светлые свежести, и да грянет вам безудержно-омытая даль, настежь рамы души, и глаза — туда, где по-новому пахнет молодая как майское утро наша боевая сирень!

Лавна. Кольский фиорд.
29.I.33

Древность

За гранью прошлых дней...
Фет.

1

Древняя ночь августа. Жарко налиты огнем драгоценности звезд. В их жертвенной, мерцающей яркости безмолвный лес нависает столетним мраком; пропадая во тьме, уходят в тлеющее небо сосновые вышки. Я лежу в заброшенной лесной избушке, — где, когда, с кем — уже позабыл, и смотрю на костер, в груду колкого, багрового жара; он сумрачно звенит и покрывается тонким сероватым пухом. Серые тени забвения!..

И первый комар звенит песней ветлужских лесов. Тонко поет зеленая глушь, ядовитая, как медянка, зыбко курит лесным светлым паром, настоем рассветных цветов.

Глушь гниет. Ночь сыра. Сумрачен костер. И толкутся, и мешаются тени.

Где я? И — что я? В забытьи встают вековые, затененные недра лесов, комариная тьма колодников и еловых боров. Там во тьме старинная река блестит и уходит на низ. Она уносит во мглу свои воды и омута, звезды, спящие в застойных ярах, свои пески, черные мореные дубы, запавшие в сладкой тине. Журавли еще стоят в чародейном тумане. В лугах росисты и прохладны шиповники. Пахнут миндалем заплетенные ивняковые кущи. Воды белеют утиным рассветом. Я лежу в чадной курной избе, в глубине заваленных древесною падалью

кварталов, в гнилом хаосе лосиных болот. Дым кружится и тянется в звездное окошко. Я слышу, как кругом, на десятки верст, жадно растут, впиваются в землю, шевелятся и гниют лесные трущобные недра.

Комары поют. Они жалят слух тончайшим игольным писком, воспаленно зудят в сыром мраке. Они поют о красном закате костра, о ветлужских еловых кварталах, повествуют о мраке глухариных заказников.

Я засыпаю, сваливаясь в настороженную дремоту. Огонь мигает мне раскаленным звериным глазом. Смешиваясь с потемками, я вижу белоснежное, ласковое, непонятное, затем все заполняет ночь, и мне снится древний торжественный лес, наполненный потемками. Он полон ими, и в них возникают нежно-палевые, непостижимые стволы. Призрачно поднимаются они кверху неисчислимыми бледными полосами, теряясь в густом хвойно-звездном мире. И вдруг во мгле взрываются огромные угрюмо-свинцовые птицы. Они рассаживаются наверху, и ломко ходят во тьме их круглые черные хвосты. И большие костяные капли, одна за одной, срываются и падают в тишину с хвойных верхушек.

Играют!

Лес недвижим. Сосны — как струны, тишина — как занесенный топор. Под звездою, когда родилась заря, тысячу лет назад, весной, шевеля сырость сосны, запел глухарь.

Грань первая

2

Эти птицы владеют мною с самых отдаленных детских времен. На верховьях жизни, на самых потаенных тропинках встают мои первые ощущения,

как бы отдаленные зарева потухших когда-то охотничьих костров. С пожелтевшей гравюры старинного издания Брема посмотрела на меня большая неуклюжая птица с круглым куриным телом, бородатой головой — такой, с какою теперь уже никто и ничто не бывает... Она сидела на хвойном суку, важная, нарисованная с тем манерным простодушием, каким отличаются старомодные охотничьи рисунки. Птица вытянула голову и собиралась лететь. Глубоко под нею чернели гористые лесные громады, уходящие в непроходимую даль. Меня на всю жизнь пленил этот рисунок и особенно то, что лес уходил на нем до конца света... Что-то средневековое было в этих германских дремучих деревах, туманно зиявших глубиной сырых и сумрачных дебрей. Они поднимались обвешанные мхами, вознося кверху пучину грозного лесного океана, сливаясь в черную хвойную даль. Эта даль шла без конца. Высоко над верхушками сидела старая охотничья птица и смотрела через всю мою жизнь.

Пусть на дворе шумит и крутится вьюга, пусть снег заносит всю землю и шуршит, ударяясь в ставни, — мне сладко часами не отрываться от таинственных бремовских слов.

«...Она распространена по бассейнам глухих и таежных рек... — эпически замечает древняя книга, пахнущая кожей и кислой стародавностью. — ...Встречается часто в средней части Европейской России...»

Желтый круг керосиновой лампы начинает темнеть и расплываться. Бородатая птица, сидящая над пустыней лесов, медленно и настороженно приподнимает голову. Непонятная розовая и желтоватая карта, висящая в отцовском кабинете, начинает темнеть: я чувствую, как с нее дует сырой,

непроглядный ветер. Вот медленно текут и плещутся свинцовые, студеные реки, уходящие вниз. На них нет ни огонька. Желтые стены сосновых лесов стоят на их берегах; слышно, как ходят, скрипя, отдельные деревья. Снег тяжелыми хлопьями летит на сальную неприютную воду. И ледяной мрак веет на белые сновидения детства своими хвойными безлюдными пропастями... Как стонут насквозь продутые, холодные леса! Вьюга осыпает их колючим снегом и заносит темнотой. А птица сидит наверху, где особенно тоскливо и ветренно, где вершины ходят с пронзительным скрипом, проваливаясь в ночь и снова возвращаясь из мрака, — непостижимая на своем сучке, одна во всем мире...

Просек чуть белеет под ней бледной снежной млечностью, туманное море верхушек набегает седым прибоем. Я прохожу гудящим казенным лесом и слышу, как там наверху кора звенит и лопается от мороза. А деревья стоят прямо и часто, поднимаясь, как хвощ, плотной черной стеной. Что-то упрямое, ненасытное и тоскливое озаряет глубину сердца. Вершины ходят, наклоняя свои голые, болотно-обреченные стебли, послушные буре, летящей из глубин таежной сибирской пустыни. Она проносится над застывшими озерами и просеками, над полями и погостами, над всем миром и над тем далеким, уже ночным, моим губернским городом...

Где же он, отжелтевший керосиновый свет юности?

Ветер шуршит в застывших кустах сирени, ветер свистит и качает звезды, галки дико, чортом, срываются в городском саду. На улицах холодно, неприютно, и холоднее всего от бесснежных заборов. И пещерно выплывает белеющая наносами улица, скучная, на которой есть кинематограф «Бразильский» и есть фотография, где уже много

лет выставлены длинные портреты, люди на фотографиях — с зачесанными писательскими волосами и в сапогах; руки держат они у поддевок, оттопырив, лица у них пожелтели от времени и недовольны. Город старый, либеральный, — под боком фабрики. Тут же ветер обсыпает снежным шелестом черную вывеску с крендельными золотыми буквами:

Кениг и сын
Д И А Н А

Я вхожу в подземное царство охотничьего счастья. Его пахучая полутьма нежно блестит витринами с широкими бликами матовых ружейных стволов. Воздух сладко настоен на тревожно-счастливом, волнующем запахе: это висят сумки и патронташи из скрипучей шагреневой кожи. В потемках у лестницы ловит время огромный плюшево-бурый медведь с новенькой двухстволкой на яркозеленом погоне. Громадная серая птица, хлопая крыльями, с надрывным свистом срывается с пожелтевшей бремовской гравюры и застывает на пыльном сучке с выгоревшими сосновыми иглами, рядом с черно-курчавой головой буйвола, играющего яростными стеклянными глазами. У птицы топорщится шея и отливает зеленым серебром. Она наклоняется, и широкий хвост ее разворачивается с треском, рисуя на стене пышный японский веер. Дверь старомодно хлопает домашним отставным колокольчиком.

Старый Кениг выходит из могильного мрака в немецком тугом воротничке, в сиреневом галстуке с булавкой, в манжетах с крахмально-синими полосками. К его вязаному жилету, полыхающему сигарным дымом, тесно прижато открытое ружье, отливающее вороненой синью и серым глянцовым мрамором закалки. Старик таращит сизые, подагри-

ческие глаза с красными жилками и говорит, задыхаясь:

— Молотой человек... Да хабен зи эйне прахтфолле флинте! О! Это ружье...

И ружье, осветясь своими начищенно-полированными недрами, мягко щелкает и щегольски запирается ловким гринером. Ложе его отливает вишневыми сгустками курчавого вощеного ореха. Широкая прицельная планка стремительно сужается по серой гильошировке.

— Э-дуард! — хрипит Кениг-отец. — Молотой человек желает лучши бумажные гильсы.

Зеленые и красные шеренги ровных картонных трубок отражаются на стекле. Бледные лейтенантские руки молодого Кенига поражают огромным бриллиантом.

Он ловко разбивает гильзы на отделения. К ним присоединяются синие пороховые коробки с круглым медведем на этикетке, ремни, сетки и те таинственные медные и выкрашенные в лягушечий цвет вещи, которые так аккуратно разложены за ледяными освещенными стеклами.

О, эти стекла и зачарованные в них светлые ученические пуговицы!

Во мраке прошлого Кениг-сын передает мне тяжелые, как гири, тщательно перевязанные покупки и блестит костяными отсветами своей нафиксатуаренной головы с надменным прусским пробором.

Колокольчик звякает, — и с морозным паром поспешное дыханье счастья охватывает потемки улицы с ее золотистыми губернскими огнями.

3

На улице гонит сухую снежную пыль и прохватывает ледяным сквозняком. Это дует с Волги. Если пройти дальше, миновать Покровку и вечер-

ний, уже занесенный потемками Кремль с его скамейками и деревьями, тянущими в ночь свои голые и костлявые щупальцы, выйдешь на Откос. Там совсем пусто, бездомно, ноги тонут в жестких надутых сугробах. Огромная черная бездна заречья тускло мерцает редкими огнями, обвевает своим пустынным, снежным и лесным мраком. Губерния уходит в темноту своими лесами, болотами и залезшими в солому спящими деревнями. Ветер не доносит ни лая, ни стука. Но я слышу издалека, словно из-под земли, глухой набегающий мачтовый шум; резкий скрип врезается в этот ровный прибой, лес жалобно плачет, кричит и стонет; по ночной губернии растет заунывный деревянный набат... Лес набегает грозным, растущим гулом, осыпаемый снегом. Лес идет и гудит. По реке, где нет ни души, гоняются друг за другом белые поминальные вихри.

Здесь, именно здесь, давным-давно, весною, когда заволжские ветра становятся тревожными и влажными, проносился я, минуя гудящие лесные полустанки с их штабелями бревен, пахнущих морем, бесконечные мосты над снежными еще тростниками, семафоры, уездные станции. Березовые рощи уже туманились, опухали лиловой и синей бахромой. Снег на промелькнувшей мимо сторожке, яркожелтой от солнца, уже распекшего заборы, осунулся и посерел. Вечером зеленый фонарик семафора говорил о пустоте перелеска, о хрупких сумерках, о России.

Поезд уже грохочет ночью. Я проношусь в притушенном вагоне темным лесным миром туда, на к р а й с в е т а, в какую-то давнюю, заброшенную страну. И те же старомодные потерянные слова пленяют память под лязг и громыхание дымного дальнего поезда: «...По бассейнам глухих и таежных рек... в верховьях заброшенных, заповедных

речек, в мрачных сырых лесах...». Вагон, точно приседая, еще стремительнее и страшнее бросается в свой чугунный и безвозвратный поток. «...Жизнь этих птиц мало исследована и таинственна. Она спрятана от глаз человека. Они не выносят неволи и оттесняются все дальше от человеческого жилья, туда, где еще сохранились дикие чащи, непроходимые ягодные болота, дремучие бора...» Глухой, отдаленный и грустный свисток паровоза ярко прорезывает качающийся мрак отдаленного, забытого; с шумом, отвечая эхом, проносятся какие-то строения, штабеля досок, вагоны — и все заволакивается влажным, темнозеленым шумом.

Какая ночь стоит над миром!

Мы выходим из домика в самый поздний, беспросветный час, и сразу глаза пропадают в непроходимой, беспредельной темноте. Деревьев не видно. Они слились с ночью и потонули в ней. От звезд, мигающих в смутных бездонных просветах, рябит в глазах. Они играют звериными настороженными огнями. Высь уходит головокружительной, роящейся бледностью.

Мы идем уже целую вечность.

Я не вижу лесничего, но смутно чувствую, как покачивается его неширокая, сутуловатая спина, как раскачивается подвернутый рукав, закрывающий обрубок его левой руки. Мне вспоминаются его старческие бритые щеки с лиловыми отеками, его короткие прокуренные усы и худая шея в расстегнутом вороте, от которой мне всегда становилось грустно, неведомо почему, — в стариковских шеях столько печального и трогающего, чего никак не выскажешь.

Лесничий останавливается и шепчет тоном старинного сообщника, таинственно и серьезно:

— Ну, теперь шабаш. Вчера... здесь вот, по болоту, двоих убил... Как бараны! Стойте-ка... стойте...

И он перестает дышать. Лес звенит чудовищной тишиной; я замираю от ужаса, — так громко стучит мое сердце. Но лесничий говорит уже громко и обыденно:

— А вот медведей стрелять еще интересней, батюшка... Тот, знаете, проворный. А ночь-то, ночь! Литургия-с!

Звездное зарево побледнело. Мы идем уже уверенно: во мраке стали угадываться дымные столбы уходящих в тайну сосновых стволов. Потом закрапали звезды. Лес заредел. Речка переливалась и отзванивала где-то сбоку, на отлете, — ночные сумерки низкого болота встали перед нами серым призраком.

— В самое время! — дышит мне в ухо лесничий, и я ощущаю кислый запах водочного перегара. Боже мой! Он опять пил всю ночь, милый, седой, заброшенный... — Вы... того — действуйте, — говорит он. — А я послушаю здесь. Только чур: стрелять под песню, итти не торопясь — птица не пуганая, матерая...

Он исчезает. Я остаюсь один во всем мире, и от счастья за доверие мне страшно и невероятно. Тихо. Разве взвести курки? Податливые, шершавые нарезки мягко поддаются пальцу и щелкают. И тут же мне представляется пустой левый рукав лесничего. Что я делаю! Рука нащупывает спуски, — и в тот же самый момент где-то недалеко, вверху, в бледно-звездной темноте лесных верхушек, что-то оглушительно хлопает и обрывается отдаленным громом...

Началось...

Я слышу, как далеко за версту треснула и упала шишка. Неведомая крохотная птица жалобно и

тонко пискнула в сучьях. Над болотом незримо и тревожно процыкал, на низкой кожаной ноте повис хрипом вальдшнеп, но я не обратил на него никакого внимания. Протрубил, протосковал хор журавлей из дебрей серых болот и смолк. Сладкое, мучительное страдание стиснуло сердце и легкие. «Раз... два... три...» — считал я до ста, с тайной надеждой, что вот тогда все устроится, все прояснится, и я увижу (хотя бы один раз!) то таинственное, уже ставшее для меня страшным в своей необычности и в своем невероятии, что вдруг должно появиться неведомо откуда, из темных, давно знакомых, но уже давным-давно исчезнувших дремучих дебрей. Какая смутная, древняя, языческая сила должна привести сюда, в эти звездные сумерки, ее, эту странную громадную птицу, живущую еще до сих пор далеким, зачеловеческим миром, который может сниться только на сумеречной заре детства?

Заря уже брезжила. Рваные и грубые контуры сосен чернели в зеленоватом небе. Болото лишалось тайн и обнажалось. Мир природы выступал своим изобильным хаосом. Все молчало. «Все погибло, — думалось мне. — Да и могло ли быть иначе?» И мне уже представился день, дневной свежий свет, мы с лесничим на весенней светлой дороге. Он с серым прожитым лицом. Как он худ, беспомощен и жалок! «Вы не огорчайтесь, — говорит он. — Глухарей все равно найдем. Не сегодня, так завтра». И в его голосе звучат старческие, извинительные нотки.

Небо уже светилось. И вдруг вверху, где-то бесконечно отдаленно, я услышал слабое, не уловимое ухом шипение. Оно оборвалось, чтобы через несколько мгновений появиться опять не похожим ни на что на свете. Неясная, чуждая мне лесная

жизнь, дальние отзвуки бурлящего родника, забытый разговор замирающих углей, — темное, неуловимое, неосязаемое, — едва коснулось слуха и исчезло. И тотчас я услышал ломкие, костяные звуки, звонко и отрывисто отбившие начало песни; они участились и рассыпались в быстрое и страстное колено.

Я прыгал среди туманных редких сосен, останавливался, не дышал, падал, прыгал опять, замирал, когда замирали шипящие звуки. И вскоре я увидел птицу, черным силуэтом застрявшую между хвойных веток. И я уже давно не жил. Глухарь сидел раздутый, раздвинувший свои мощные перья, поводя громадой раскинутого полукругом хвоста в белых мраморных пятнах. Бородатая его голова приподнималась и опускалась в такт бурлящему горлу. Косматый и черный, он поворачивался в нежном розовом сиянии, проникавшем сквозь сумеречность сучьев. Древнее, полночное, петушиное было в этом мохнатом призраке, повисшем в рассветном безмолвии дерев.

Задыхаясь, я навел ружейные стволы на это черное, ходящее по суку, — и вместе с багровым, гулким, потрясшим весь лес ударом понял, что все погибло. Громадная птица встрепенулась, грузно ринулась вниз и, круто захлопав и свистя, замелькала среди сизых курящихся сосен. Ружейный дым плавал по земле синими сырыми кругами. Я бессмысленно бежал, спотыкаясь у пней, гнилых сучьев, мохнатых и грозных стволов. Отдаленные звуки и шорохи, — и счастье, и ужас, — еще стояли в ушах. И острая предсмертная боль, целый разгромленный мир, погубленный мною, застлали весь лес, сочились горючими ночными звездами, еще стоящими в глазах; нестерпимо жгучие нависали они, расплываясь горячими, задохнув-

шимися соснами, стекая палящими солеными жгутами, закрывая все ослепляющим блеском. Разбиваясь в грязные струйки, падали они на мое первое ружье.

— Иван Михайлович!.. Иван Михайлович! — кричал я, цепляясь о сучья, безвозвратно погибая, захлебываясь в диком отчаяньи и ужасе. — И-ван Ми-хайлович!..

Грань вторая

4

В лесной избе было тускло и чадно от густого серого дыма. Черные прокуренные бревна нависали из мрака и, поблескивая мокрой смоляной копотью, грустно отсвечивали рассветом — поздним и сырым. Рассвет еле сеял свои полосы в низкую дверцу. В этой бледности была предосенняя гиблая лесная пасмурность, когда зелень становится чересчур яркой и глядит утомленно.

Зарудин проснулся от душившего его бреда и с трудом поднял тело со сбившегося колючего сена. От косых и неровных нар спина и бедра ныли свинцовой усталостью. Он слез с досок и ползком добрался до порога, вылез из прелой, дымящейся избы. Тусклый, залитый водою, затянутый туманом мир сразу обдал его тысячью своих запахов. Лес парил. Ночной пряный дух еще поднимался от земли. С лугов душно и остро пахло болотными цветами. Облака сеяли свет, похожий на сияние. Ночь еще жила, комары тонко и надсадно звенели у зудящего лица, в горле першило. И Зарудину сразу стало не по себе и одиноко на этом усталом лесном рассвете.

Повеяло, обняло откуда-то дуновением отдаленного, полузабытого сна. Спускаясь к речке, задевая кусты, окутанные ночными махровыми запахами,

он ощутил на сердце легкую звенящую пустоту, и блаженную, и сладкую. Быстротечно пронеслась весенняя тень юношеского, повеяло просто и кратко радостью милой памяти... Старичок Иван Михайлович скончался восемь лет назад. Он заброшен, всеми забыт, никем не оплакан.

Жил. Давно. Никогда. В быстрые дни молодого времени.

Вода на речке стояла в забытьи, осиротелая, почти осенняя. Большие кусты с утиными лапчатыми листьями касались воды, — и вода обдавала холодком лесной черной смородины. Славно поплескаться в дикой, заброшенной на краю земли речке, ощутить в себе буйные и старинные силы! Поднимаясь по белому от росы косогору, Зарудин ничего уже не помнил из ночи: мир жизни охватил его свежей, играющей силой. Огромные коршуны косо парили над лесом, их дикие крики говорили о пустоте осенних боров и отлетных стаях.

На тонких московских часиках еще нет четырех. Но поднимать Алексея Яковлева, пожалуй, пора. Дождя, вернее всего, больше не будет, но лес надолго еще останется и сырым, и туманным. Это плохо: глухари не любят воды и после дождя не будут широко ходить, — с собаками можно пробрести мимо самого выводка. А середина августа — самое время для летней глухариной охоты. Молодые уже выровнялись, заматерелись, нагнали крепкое перо. Петушки одели свои распадающиеся, тусклозеленые воротники, потяжелели на урожайных нынешних ягодниках и, подымаясь, летят с тем надрывистым тяжелым присвистом, который так веселит сердце записного охотника. Выводки прочно держатся своих излюбленных мест. Смешанные глухие перелески у зимних дорог, ягодные боровины, сухие песчаные веретья, по-

росшие вереском и столетними соснами, осинами и елями — обычные их угодья, где с хорошими лайками можно всегда наткнуться на этих прекрасных, сторожко-отшельнических птиц.

Изба еще курилась, когда охотники, бросив лайкам последние куски, не оборачиваясь, задевая ружьями росистые ветки, пропали в омуте клубящегося зеленого дыма. Старик шел впереди, не торопясь, перелезая через поминутно налезающие громады павших стволов, ловко вышагивая между переплетенных, перепутавшихся и склонившихся друг к другу деревьев, сучьев и кустарников. Изредка он останавливался и свистал собакам, и тогда Зарудин снова и снова с любопытством вглядывался в его странный, непостижимый,ископченный древностью лик.

«Алексей Яковлевич, — хотелось спросить ему, — кто вы? Готтентот ли? дикарь с острова Таити? жрец, умерший пять столетий назад? или просто неизвестное человеческое дитя?»

Но старик непостижим. Кожаный старый картуз скрывает его длинные покойницкие волосы, падающие прямо и сквозящие коричневой, грязной, старческой плешивостью. Глаза его наивны и сини, поражают своим широким открытым спокойствием. В неровной инородчески-редкой бороде, как всегда, застряли крошки, оброненные его непомерно большими, обвисшими губами с постоянно запекшейся синевой. Он стоит, вросший в землю, в корни, в буйную густоту зеленых неисчислимых стеблей, в своих серых портяных лохмотьях и кажется обветшалым затаежным идолом.

— Ху-уть!.. Ху-уть! — кричит он таким тонким и жалобным голосом, что рябчики трескучим веером подымаются в ольшаннике за болотом. — Мотик!.. Мотик!.. Ху-уть!

Мотик серебристой тенью мелькает среди елок, обнюхивает на ходу моховые кочки и бросается, поводя кругами, за болото. За ним черной лисицей вырастает из-под земли остроухая Кукла с зелено-серыми хрустальными глазами. Она смотрит на охотников и виляет хвостом: извиняется. В зверином взоре доклад: я сделала все; я могу; глухарей нет; я люблю теплые глухариные кишки.

— Ищи! — сердито говорит старик.

Зарудину видно, как собака быстро уходит в лес, как она останавливается, вбирает с земли целый мир недоступных человеку запахов и следов. Она ищет тревожно, то поводя носом, то стремглав бросаясь вперед. Зарудин снимает с плеча мокрое ружье и пробует предохранитель: ружье готово.

— Алексей Яковлевич, — шепчет он. — Собака-то приметила...

Но старик невозмутим как всегда, и как всегда одинаково его коричневое лицо в черно-синих угрях и пятнах.

— Не пройдут, — отвечает он тоже шопотом, но просто и обыденно, — собаки-то. Энтот вот помоложе, а способистей. Гляди — и на потку никакую не забрехнет.

Собак уже не видно. Желтыми и фиолетовыми колоннами стояли сосновые стволы, и оливково тянулись в самое небо сказочные ветлужские осины. Ели свисали клочьями седых и медяно-ярых ослепляющих мхов. На вершины их страшно смотреть: в глазах темнеет, когда запрокидываешь голову, шапка валится замертво. Капало, стекало с деревьев. Шагов не было слышно, — лапти глубоко тонули в напившемся, пышно-податливом моховом ковре, залегшем повсюду мириадами своих яркозеленых, ничтожных, как снежинки, звезд. Лес обволакивал своим душным дыханьем, дурманом распаленных

красок, своими шорохами и звуками. Где-то простучал дятел, и далеко отдался его резкий, оборвавшийся, пулеметный стук. Желна захохотала в сучьях, зловеще махнув в полусвете хвои клоунскими радужными перьями. Все влажно дышало кругом, упиваясь ранней росистой свежестью. Черничник, по колено в ягодах, непроходимо путал и стлал по земле свой голубой, цепкий к ногам дым.

Время черничника! От ягод голова идет кругом,— синие россыпи их покрывают пни, обомшелые колодники; ягоды лезут под ноги; они поднимаются, унизав высокие кусты неисчислимыми шариками в матовой сизой пыльце, они покрыли кочки и пригорки, тянутся целыми полями. Руки и губы давно перемазаны их лиловыми и несмываемыми чернилами. А их все больше и больше. Как, наверно, сладко, вольно и беззаботно пастись здесь лесным птицам, слушая внимательное квохтанье большой оранжево-круглой глухарки, встречая здесь в дреме хвои красный рассвет! Как сладко дремать им, прижавшись к замшелой дремучей коре, высоко под звездами, над мраком хвойных пустынь, когда внизу господствует сумрачнейшая тишина веков! А бури, когда лес скрипит и качается!.. А грозы!..

Бледное водяное сияние дня становилось яснее и прозрачнее. Иногда небо прояснялось, — голубоводный, вымытый провал его сиял девичьей утренней прелестью. Солнце прорезывало золотыми пивными искрами столбы светового тумана, восходящие в лесных просветах. И на солнце сразу становилось жарко, начинали звенеть мухи. Большие желтые бабочки трепетали, срываясь с обсохших радужных листьев.

Охотники погружались в мохнатые еловые дебри. Стемнело и засырело. Итти становилось все трудней от навороченных гнилых колод и вставших корней,

потянувших за собою землю, со всем прижившимся к ней зеленым, впившимся в коричневую гнилую труху миром. Ноги проваливались в гниющую древесину, из мрака которой тонко выпевал и поднимался столбом комариный окаянный зуд. Голову кружило от сладковатого эротического запаха грибов, восстававших везде, где сырел распад. Белые боровые торчали из-под еловых шатров, поднимая свои закопченные замшевые головки. Лес опускался вниз.

«Странно, — думал Зарудин, еле выволакивая ноги из цепких сучьев и пахучей истлевающей трухи,— мы привыкли чувствовать лес ровным, растущим на спокойной равнине. В сущности же говоря, какие это горы, долины, пропасти!»

Ему представилась уходящая вдаль, искареженная пнями, морщинистая от повалов, гор и откосов пустая порубленная гарь. Чувство острой жалости охватило его от сознания, что так, именно так скоро и будет... Топор и пила обнажат бугристую, шишковатую голову земли, состригут, сбреют эти густые пышные зелено-черные кудри. Состригут — и она на годы станет неуклюжей, злой, арестантской, как голова подростка из-под двухнулевой машинки.

Леса! Каким древним криком и гулом падает старое дерево! На этот мир гнили, этот хаос распада — в черных речках, в мириадах древесных трупов... Но этот старик — привыкший к молчанию, курному дыму — нищий, грязный, звериный... Как он сросся с сизым сумраком этих стволов, болот и лесной догнивающей падали!.. Даже его ружье— кусок выверенной, сверленой стали, бывшей некогда совершенным американским изделием — приспособилось к нему, осторожному, лесному, слитому воедино с ржавыми, зеленоватыми и голубыми потемками зарослей. Деревенский кузнец приде-

лал к стальной коробке скорострельного винчестера огромную ржавую стволину с напаянной кривой мушкой. Ружье покрылось глубоким слоем застарелой, навсегда запекшейся ржавчины. Но столько прекрасных зверей и птиц полегли под дымными, громовыми ударами этого грубого, почти древнего орудия!

Зарудину представилось, как бьется на земле подкарауленный, выслеженный, обманутый глухарь, отливающий на апрельской красной заре зеленой амальгамой, кофейным шелком мощной груди, белым атласом подкрылий, тончайшим серым крепом пера ювелирной работы. Даже кровь, столь ужасная на человеке, прекрасна на его роговом клюве — висящая сгустком влажного вишневого бархата. В его огромных глазах, округленных золотым ободком, еще живет ужас, он еще помнит прыжком кинувшуюся тень, что склонилась к нему своим коричневым ликом идола, детскими широкими глазами, затертыми портяными лохмотьями.

Зарудину стало тошно, отвратительно, мерзко. Переделывать, переделывать все! Вспомнились — темная изба с ее кислым и прелым запахом, печь, на которой постоянно сушатся зловонные онучи; девки, тощие, голенастые, с прилизанными коровьим маслом, а поэтому дурно пахнущими головами. Ему припомнилась последняя ночь в той душной, притуленной к печке избе, где этот старик прожил всю жизнь, все радости и надежды: от подушки тянуло тем же прогорклым маслом, всю ночь тело обжигали клопы... И он знал: там недавно, в этой избе, девочка умерла от глистов. А кругом стояли леса, до конца света, леса, пахнущие свежим солнцем и ветром, и хвойной тишиной, — когда на последний наст падают и остаются лежать шишки,

весной, в сине-снеговом марте, когда от беличьей шкурки пахнет кожей ребенка, когда лыжница к вечеру ложится, как тень.

Кругом стояли леса.

Зарудину сразу стало грустно и одиноко. Он почувствовал, что устал, что этот старик, которого он считает своим другом, в сущности говоря, ему жалок, чужд и ужасен.

— Переделывать! Переделывать! — шептал он, с трудом волоча ноги. — Камня на камне, бревна на бревне не оставить на этих вонючих и вшивых гнездовьях! Древность! Чудище! Навозный компресс на теле республики.

И старик, неторопливо шагавший со своей огромной к о ч е р г о й, показался ему большим серым насекомым, забившимся в заношенные складки дряхлого умирающего мира.

5

В лесу сразу залились, яростно перебивая друг друга, собаки.

Заунывно, на весь лес, забирая все грознее и грознее и переходя в остервенение, затявкал, завыл и отдался в бору Мотик. За ним с нетерпением, перебивая заунывное, по-женски страстно и упрямо залилась Кукла. И сразу зазвенел, заукал и надломился тишиной лес. И, надломившись, наполнился громом и треском тяжело поднимающихся крыльев. В соснах и елях замелькали косо забирающие вверх, надреснуто свистящие во все стороны, серые глухариные копны. Собачий лай уже бил в набат. Лес выл и метался. По лесу шел гуд. И в него вкрадчиво и осторожно падало откуда-то сверху, совсем близко, лесное: куак, куак, куак, — и стихло.

Как в тумане, Зарудин увидел огромную пепельную птицу, севшую прямо напротив него на верхушку одинокой, задранной в самое небо ели. Снимая на ходу ружье, он бросился вперед, еле сдерживая вдруг заколотившееся, нестерпимо сумасшедшее сердце. С легкостью перемахнул он через скользкую ободранную колоду, продрался сквозь колючие кусты и замер.

Легко, благостно и безбрежно парили в небе пуховые, завитые тучки. Еловые черные лапы не двигаясь плыли куда-то в лазурную теплую высоту, непоколебимо, недвижно разрезывали они белые облака. Тишина и спокойствие опочили на еловых ветках, и белое, воздушно-легкое, перистое, — то, что стояло над верхушкою, — казалось несбыточным и во сне.

В висках стучало, голова уже затекла, небо становилось черным, но Зарудин не видел птицы. Он ходил вокруг дерева, ходил, и все больше и больше убеждался, что глухаря ему не найти. Он чувствовал глухой шум в голове, в висках четко отдавался сердечный молоток, знакомое охотничье отчаянье холодком пробиралось за спину.

— Миколай Миколаевич... — услышал он вдруг страстный, сияющий шопот.

Он оглянулся. Старик стоял, высоко закинув свою обвисающую пыльными волосами голову, и показывал ему вверх. Не чувствуя земли, путаясь ногами, перехватывая хриплое дыхание, тот тщетно бродил глазами — и наконец увидел: глухарь чуть брезжился низко опущенным хвостом, уплывая вместе с вознесенной хвойной вершиной навстречу неподвижности снегового облака. Ружейные стволы на миг закрыли его сливающуюся тень, секунду она задержалась между двух стальных полукругов, и ружейный удар показался особенно гулким, под-

резывающим и посадистым. Громадная птица плавно, не задерживаясь, мелькнула вниз, безмолвно и мягко, стукнувшись темным бултыхнувшим зобом и распавшимся ворохом перьев. Одинокое перышко, крутясь, опускалось в воздухе.

Держа птицу за длинные шершавые ноги в плоских роговых пластинках, Зарудин еще раз ощутил истому дикого, необъятного счастья. Собаки заливались впереди, и это сулило еще то новое, тревожное, острое в своей сладкой и сердечной тоске, которое пришло, которое, он чувствовал, повторится опять, которое было сейчас и которое будет еще впереди без конца. Это без конца было особенно сладостно; и, очевидно, потому, что охотничье, древнее всегда поднималось из пройденного, векового, затерянного в забытом, туманится синим куревом потухших костров, светивших много лет назад, зовет неизведанными дорогами вперед, — никогда не иссякнут темные, уходящие вдаль неведомые охотничьи дороги, никогда не умрет темное счастье предчувствий, погони, следопытства, удачи, счастливой охоты...

Он неожиданно понял, как страстно, неиссякаемо любит жизнь — мучительной, детской, пытливой, охотничьей любовью. Ему вспомнился смутный и очень давний его мир, горящая тьма, ужасные звезды, разгромленный бор, — но полностью всего он не мог уже припомнить. В своем ощущении мучительной влюбленности в этот лес, в этот дикий, неприветливый, почти каменноугольный ландшафт, в этого чужого старика, вдруг сказавшего так необычайно, так древне-соучастнически: «Миколай Миколаевич...», когда они стояли под древней, сказочной добычей (сколько веков назад!); — в своих ощущениях он смутно различал только одно: это никогда, никогда не кончится.

6

А кругом стояли леса. Те леса, что скоро уйдут с земли, леса, где в снегах тонет рысь, когда в железный мороз слышно звезду и человек один-на-один с тишиной слышит, как в Канаде поют петухи.

...Без конца чернел, уходил, закрывая все — горы, реки, долины, тысячи верст — неисчислимый, мелькающий сонмами дымных прямых стволов, сырой хвойный лес. Он стоял, вырастая все выше и выше, поднимался, как неведомый дикий народ, покоривший некогда райскую зеленую землю бродячими древесными ордами. Нет им числа и имени. Курились болота, тихо шли на низ черные реки, гигантские тени падали на былую землю вольной травы. Валились, гнили, ложились в торф на болота синеватые погибшие стволы, — высокие лесные кремли восставали над гарями, над сгнившею падалью, над топями пустынных низин.

И он жил, великий лес.

Еловый мрак заслонял солнце, играл изумрудный мир несметных жужжащих оводов.

Бор сухо звенел струнами своих натянутых стволов, провевая дебри свои зноем, грея свою заповедную скользкую сушь.

Красный лес, старый лес! Сосны прорастали кладбища времен, поднимая крестами мириады своих рваных вершин, хороня столетья и кости, тайну былых бизоньих бархатных пастбищ. Лес рос, жадно пил свои соки в темноте земли. Стоячие воды кишели прожорливым, неукротимым счастьем бессмертных личинок, кипящих в оцепенелой тайне гниения. Солнце медленно падало, опускаясь ниже и ниже, в комарах и мертвых прохладных тенях. Лес синел, подымаясь и опускаясь до конца света — непроходимый, непобежденный. В глубь его ухо-

дили охотники. Один из них, длинный, беспечный в своих лохмотьях и лаптях, с отполированной до сияния дорогой бескурковкой, был увешан огромными, раскинувшимися до земли птицами, мотающими на ходу свои тяжелые древние головы. Он брел устало, но охотно, был весел, иногда улыбался и свистал...

Да ведь это же из Брема!

Живая, непобедимая древность: охотники уходили все дальше и дальше.

Москва, 1928-1929

Путь в страну смысла

1

Ландшафт запевает монотонную песню, Фата-моргана, Майя, колдовство пустынь, — я не знаю что, — необыкновенное беспристрастие, равнодушие окружают эти берега, эти плоские излучины, затянутые пленкой цветной и студеной воды. Урал — безразличный рассказчик — соткал свои повести об огромной прожитой жизни и так же спокойно смыл, чтобы замедленно снести их к горизонту стоячей, необозримой воды... Великое озеро Каспий! Нирвана! Световые галлюцинации! Там отмирают безрадостные глиняные равнины, пучки соленой травы, вскипает мерным шелестом гигантский камыш, и мерцающий разгром пространства, фосфорический, идущий к небу блеск затопляет глаза.

Но этот город, этот прикаспийский Чаир, царь-осетр, мерещившийся казачьей вольнице под треск бродяжьих костров, мечта мохнатых шапок, кафтанов, кремневых пищалей, призывный клич московских опричников, разинских стругов, этот город, спящий в безвестных могилах казачьих, монгольских, киргизских, офицерских, купецких, этот город, что стоял в тифозном бреду красных конниц, как символ и последний предел, как призыв и предсмертный крик бессменно живого Чапаева!

...Над городом стоит низкое марево дыма. Это не легкий, прозрачно тающий дым обычного города: он нависает синеватой грозой, что-то тяжкое,

грозное чудится в контурах его темных громад. За этим дымом мы привыкли видеть железные эстакады, вознесенные кверху трубы и фермы, геометрию корпусов и нагроможденность заводской жизни. Но это обман, игра ассоциаций. Дым стоит над глинобитными, плоскими кровлями, он курится, осыпая черные хлопья липкой сажи, над унылыми кирпичными домами, над былыми судьбами расстрелянного, замерзшего в адайских пустынях купецкого капитала, над деревянными крышами рыбацких домов, — индустриальные громады его скопляются из мизерных домашних очагов. И все же это нефтяной дым. Это дым будущего, равно как и дым прошедшего. Этот дым — безмолвный повествователь истории, политики, экономики. В зимний день он сочиняет английские сказки, и отнюдь не о добродушных судьбах незабвенного Пиквика и о добром дядюшке в полосатых брюках с рождественским пудингом. Он вьется весело, колеблясь шелковыми струями, над убогими улицами с героикой чапаевской драмы, над белыми зданиями Бухарской стороны, — фантастическими видениями века рядом с кибитками кочевников, — над истлевшими костями тех, грозных, непоколебимых, вошедших, как страшный суд, в своих косматых папахах, перетянутых красными лентами, что полегли в темных ямах с осколками обточенной стали, прибывшей из города Бирмингама.

Это дым Гурьева. Это дым странного города, столь не похожего ни на один город в мире, города, где кости лежат прямо под улицами, где единственный памятник — память расстрелянным, где дети рассказывают о приемах, при помощи которых белые инквизиторы снимали кожу с голых людей под звуки духовой музыки. Тлетворный запах истории, рев верблюдов, свистки пароходов, цепь

огней и электрических сияний над нефтью и рыбой по ночам; казакстанское небо — прекрасная роскошь и нежность красок, гуси под солнцем, их зовы к морю, к зиме, сухость заморозка, — боже мой!— как заунывно лают и воют псы, когда замирает вечер и огненно-красное зарево, разгораясь над ночью, повисает лунным багровым глазом пустыни. И опять запах рыбы и дыма, то нефтяного, сладкого и одурманивающего, то горького и острого, этот запах горелого верблюжьего помета, камыша и скупых древесных кустарников, — о, дым Гурьева-городка — самый своеобразный, самый непохожий на других, самый томительный, как мечты человека о будущем. Он окутывает самый плоский и безрадостный угол земли, ее дальнюю пыльную горницу, он висит свинцовой, неспадающей пеленой, и путник, покидающий эти края, конечно, навсегда, долго видит с грузового полутораттонного форда его неопровержимое облако. Дальше, дальше, — уже бесперебойно ревя и поднимая столб крутящейся пыли, оставляет машина первые десять километров, а дым еще тает, еще чудится... До свиданья! Я уверен, что на сердце у путника навсегда осталось облако странного чувства.

2

Этот день солнца и ветра — октябрь Казакстана, этот день — как вымпел просторов, голубого сиянья, водяных рассказов, повестей пустыни и моря, очей пустыни. Стоят верблюды, стоят корабли, стоит солнце — движение здесь подобно покою, покой подобен движению: он не имеет пределов. Пустыня набегает на город, на низкие крыши, как великие воды. Однообразно плывут навстречу, в желтый прибой, в сон, в пучину небытия, кирпичные стены

собора, — гигантский Ноев ковчег мрака и смерти, корабль длинноволосых пиратов, еще правит свой путь.

Город выбросил свалки, отрепья, грязные шалаши, удушливый спор запахов прямо в глину пустынь. Летопись его хрустит под ногами, — прозеленевшие гильзы винтовок, могилы и смерти, отбросы человеческих тел, — мы находим здесь уснувшие крики и стоны, лохмотья безвестных судеб, реликвии дней, томление невысказанного, кости людей и животных, навоз будней и мощи истории.

И навстречу дню, глазам, ожиданию, с речных берегов, — обращенный к морю, к рыбьим путям, шестами, флагами, крышами, дымом, — шествует он — старый Лицевой промысел. Как стан варваров, пирует он на крови, рыбьих внутренностях, окруженный зарослью мачт и снастей, потягивая свою трубку—удушливое морское жерло, где топится жир и клокочет тухлое варево.

Какие запахи и краски! Он бьет в лицо суматохой дикого пира, тревогой морского ветра. Шесты с красными флагами четко и остро вопиют о военных приказах путины.

Над станом обветренных изб, обветшалых лабазов, просоленных, выщербленных временем, солнцем и водой настилов гуляют просторы реки. Мутно-зеленые волны ее плещут о бревна плота, этого прилавка рыбной разделочной кухни, где все пропитано слизью, сыростью, незамерзающей соленой грязцой, разъедающей руки, как серная кислота. Прогулки ветра студены и ослепительны. Плот царит над берегом, как гигантский дебаркадер, — чудятся прибытья, отплытья, романтика расписаний, дымы и ревы необъятных труб, пропасти трюмов. Но только прорези, плоские, словно затонувшие лодки, где леденеют залежи рыбьих хво-

стов, только бойкие катеры и широкозадые рыбницы толпятся внизу. Караваны деревянных судов воскрешают Макарий, старину Мочального, деревянный эпос расшив и стругов, «сарынь на кичку», дебри астраханских набережных. Вокруг них суета и гвалт ярмарочной площади. Разноязыкий мир промысла, в своих невероятных шапках с висячими ушами, похожими на уши немецких лягавых, в халатах, из которых клочья ваты смотрят лохмотьями классических одеял западных местечек, в овчинах песочного цвета бархан, в бабьих затертых до блеска кацавейках, в щегольских шерстяных чулках, этих зеленых, малиновых, фиолетовых возгласов женских икр, — эта ватага промысла, неповторимый гомон песен, брани, слов, не доступных цивилизации языка, создают музыку ослепительной карусели. Люди стоят в рыбницах и лодках — это лица пустыни. Люди разносят носилки, сортируют осклизлое рыбье серебро, — те же сосредоточенные, матовые, словно покрытые пылью скулы, бесстрастные, как глиняные бугры солончаков, неведомые еще нам своей невозмутимостью, ложным спокойствием. И — женщины. Вчерашние кочевые матери, девушки юрт, невесты аулов, они проходят, молчаливые, полные достоинства молчания.

На плот непрерывным потоком шлепаются, на миг неуклюже застывают, бьются и наконец распластываются, удивленно жуя воздух и уже костенея, тупо закругленные плавники, черно обрисованная чешуя и красные перья сазаньих туловищ. Мокрая сетка зюзьги, опрокинув ослепительную судорогу хвостов, вновь опускается вниз. Двое людей веревками поддерживают ее металлический обруч сверху. Внизу — шестом управляет третий. Кошель зюзьги погружается в глубину

воды, шарит, — и вот молниеносный всплеск, и вот через всю прорезь стреляет от него подводная, настороженная, пятнадцатифунтовая тень узника, пришедшего с моря. Живое серебро проливается в суматоху плота. Рыба шлепается в растущие груды, на лету оскаливает колючие перья и вытягивается, блестя вымытыми белыми брюхами. Здесь отблески всех благородных и цветных металлов, здесь роскошь посланников — речных и морских, с подводных пастбищ, из сумрака заповедных ям, из рассветной зеленой мглы прибрежных глубин. Плоские головы судака, неподвижно и вяло простертого на грязных досках, вспыхивают фосфорическими лунными глазами. Сундуки скупого рыцаря ничто перед этой струей воблы, проливающей сонмы звонких монет. Иногда сомовья распластанная мякоть с обвисшими розовыми усами, с буравчиками крохотных глаз скомкает на лету возникшие библейские образы рыбарей и невода, скомкает, как лист старинной гравюры, и душа в жилетке лавочника, презренная отрыжка сытости и неприкосновенных прав, возникнет острой тоской гроссовского рисунка. Но вот уже сазан, бронзово-зеленый, с брюзгливо оттопыренным ртом, весь в роскоши шахматной четкой чешуи, наводит на промысел темноглазый взгляд, настороженный из ободка яркой латуни. Великолепный день, говорящий языком труда, удачи и щедрости!

Воды Урала поспели, — так говорят рыбаки,— мутно-зеленая масса воды ходуном ходит под упругим октябрьским ветром. Время хода судака— пылкое время, когда руки людей ценятся на вес золота. На тонях работа не знает остановок. Рыба идет с моря, наваливается несметной силой в устье реки, покорная биологическим законам, желая подняться кверху, на свои зимние исконные паст-

бища, чтобы заполнить темные глубокие ямы, где она в строгом порядке — порода с породой, возраст к возрасту — многоэтажными слоями стоит долгие зимние месяцы, дожидаясь весенней поры — солнца, тепла, икрометания. В глубине моря, вдали от черней, — так зовут здесь, по зрению, каспийские камыши, — уже пошла вобла. Ее косяки выписывают гигантские кривые от Мангишлакского полуострова к унылым прибрежьям Живой Косы, к пескам Эмбы, к равнинам Денгиза. Там, в глубине далей, под ветром, коварно играющим всеми путями компаса, верные лоту, звездным созвездьям и древнему чутью исконных мореходов, идут паруса гурьевцев, астраханцев — грязно-серые, косокрылые видения, всегда среди плеска и ветра дней, холода и тьмы безвестных рыбацких ночей. Здесь, на промысле, эта дальняя морская жизнь только в отголосках, только в завершении. Иногда грузные морские сапоги, добродушная оторопь походки, черная запутанная борода появятся на борту рыбницы, облепленной рыбьей чешуей, и тяжкий, всепроникающий дух моря повеет на крики и гвалт медлительным и суровым величием.

Рыбу несут все утро, весь день, до полночи. Уже тьма пришла из пустынь, уже опоясали лабазы, избы и гнилые доски висячие огни, уже речной ветер ожигает, как морозная сталь, а рыбу несут, валят и снова несут. Глубина лабаза погружена в слякотный, промозглый туман. Там не затихает работа. Песни резалок серебристы и заунывны, голоса блестят среди этого гигантского распоротого рыбьего брюха, полыхающего смрадным угаром свежей крови. В тумане мы видим их друг против друга, на узких скамейках, с короткими ножами, в промусоленных насквозь варежках. Лица их молоды, розовы, иногда миловидны, сероглазы, язы-

ки бреют, как бритвы. Это гости из изб Нижней Волги, Украины, казацких аулов. Они хватают скользкие рыбьи туловища, ловко вонзая в них заостренный крючок, методично вспарывают их взмахом ножа, отделяют внутренности. Ножи вонзаются с хрустом, течет липкая кровь. Еще живые, скользкие, полные последних содроганий, рыбы бьются на липкой грязи настила. Сейчас ливень воды смоет кровь и ненужную слизь, тачки свезут их к зевам чанов, и там, среди измочаленных, добела изъеденных солью деревянных сот, превратятся они в просол, малосол, полупросол, в загадочные наименования, стоящие трафаретами черных букв на днищах серых, душно пахнущих рыбных бочек.

3

Еще один день, полный света и солнца. Дует выгонный ветер, тот самый, что приходит с севера и надолго опустошает ерики, ильменя, заливы, обнажая прибрежные косы. Камыши пустеют: гуси и утки отлетают в море.

Пыль крутится по улицам города, вся степь затянулась дымкой. Близок мороз. Приходится надевать перчатки.

В Урало-каспийском тресте непроходящая суматоха. Директор болеет, оперативные провалы очевидны, план путины еще не выполнен и на пятьдесят процентов. Промысла завалены рыбой, а тут кризис транспорта, самотек в море, скандал с контрольными цифрами, вечная история с недостатком работников. Газета неистовствует, — в сегодняшнем номере замечательный лозунг: «Рыба просится на берег».

И тут же новый скандал: пьянство ответственных работников-рыбников, мордобитие, житейская

грязь. Нервозность, суета, — в ней поспешные фигуры приезжих, озабоченность полномочий, бесконечные заседания. Безобразная стихия косноязычной старины, разваленной, сокрушенной, еще не взятой в цельный костяк новых лесов, напоминает вид только что начатой стройки. Щебень, бревна, разрытая земля, тоскливый запах извести, ветер со всех сторон. Я знаю, что трест организован буквально на-днях, и его сразу задавило богатством, изобилием, необъятностью возможностей, золотой прорвой сказочных угодий. Прорывы, прорывы... Среди всех рыбников один Хохряков, бродяга-американец, невозмутимо и спокойно посапывает своей трубкой.

Он колоритен и здесь, в этом городе моряков, смелых замыслов, в этом крайнем пункте человеческих судеб и биографий, где непреклонные, суровые фигуры пионеров социализма так же обычны, как и обтрепанные лохмотья неудачных карьер, авантюрных жизней, последних пропившихся надежд. Я смотрю на него с любопытством, не удивляясь: удивляться быстро отвыкаешь здесь, в русском рыбном Клондайке, имеющем свою собственную философию и лирику. Но как он уверен в себе, этот человек, впитавший запахи всего мира, говорящий на особом интернациональном русском языке, несокрушимом перед Японией, Китаем, Аляской, Канадой, Аргентиной, Мексикой, где он жил в устах этого человека с прозрачными синеватыми глазами, в заморской брезентовой куртке, опушенной воротником искусственного меха.

Хохряков ушел из беспощадных лап американской политической полиции совсем недавно. Он говорит об этом словно неохотно, кривя скошенный в сторону рот — беспощадный, плотный, сидящий на

прочных, жестких челюстях с желтыми, несокрушимыми зубами.

— Они бьют насмерть, — говорит он. — Там есть настоящие, здоровые парни. Но все же труднее всего в Мексике. О, Мексика... Я очень люблю Мексику!

Мы идем на промысел пыльными захолустными улицами в глинобитных стенах, с заборами из камыша. Я всматриваюсь в этого человека, в его синюю шерстяную шапочку с шариком на макушке, в неморгающую ясность его глаз, мне кажется, он сам похож на заморскую рыбу — плотный, завершенный, в своих отличных резиновых сапогах, знавших промысла Аляски.

— Нравится вам в Советской России?

— Ну еще бы... — отвечает он, не задумавшись.— Я заметил, у вас многие рабочие не понимают, где они живут. Они говорят, нет обуви, нет одежды... Америка имеет много, но мы не имеем долларов. Зачем мне Америка, если там нет работы? Полицейские очень хорошо дерутся. Я люблю хороший удар, когда человек ложится мешком. Здесь этого не знают. Но я еще хочу жить и работать. А, кроме того, я люблю русских женщин. Русскую женщину я считаю первою в мире...

— У вас была жена?

— Я спал с женщинами всего мира. У меня были женщины всех наций. Я забыл их всех, но были хорошие женщины.

— Вы любили хотя бы одну из них?

— О! — он говорит с металлической твердостью.— Мне так нравятся испанки! Они похожи на русских баб. Они и русские — самые веселые, неунывающие нации. И еще Мексика. Вы спросили про любовь? Я вам сказал, что я спал со всеми странами.

Он тянет свою трубку, замедляет речь.

— Я никогда и ничем не болел! — перебивает он мой вопрос. — Они любят гладить мое тело, они говорили мне на всех языках, что ни у кого не видали такой кожи, как у меня... Смотрите!

Он засучивает куртку и обнажает руку до локтя. Я вижу согнутую матовую кисть тончайшей резьбы с игрой закаленной мускулатуры, покрытой нежной кожей из теплого шелка. Я ощупываю его руку,— она притягательно чутка, наполнена горячим дыханием.

— Во мне хватает на всех, — невозмутимо продолжает Хохряков, расправляя рукав куртки. — В Мексике, однако, приходилось трудно. Меня вели двое полицейских. Одного я ударил в висок, он не встал и теперь, другого задушил этими руками... Это настоящее дело. А они знают, как принять удар.

— Вы пьете?

— Я не пью спиртных напитков.

Он шагает точно и прямо, отвечает на мои вопросы серьезно, но я вижу по его внимательным взглядам, бросаемым в сторону, что ничто не ускользает от его внимания. Его мысли, очевидно, имеют свое собственное течение, независимо ни от чего. Он обстоятельно разъясняет мне сущность своей профессии, экономическую выгоду этой разделки рыбы под клипфиск, при которой она лишается костей, сохраняя полностью свои достоинства и внешний вид. Это новинка, входящая в экспортный ассортимент. Сегодня он произведет первые опыты над судаком. Он работал по этой специальности в Аляске и Канаде.

— Я никогда не видел такого богатства, как здесь у вас, русских. Из этого выйдет толк. Но разве можно такую рыбу солить? В Америке соль совсем изъята из дела. Нужно морозить, консер-

вировать, нужно клипфиск, филе. Конечно, все это будет у вас. Я уже вижу. Я очень доволен, что здесь знают, как нужно работать.

И он снова шагает, старый мировой бродяга, обдутый ветрами всех континентов.

Кругом нас пустыня. Промысел подошел близко. Уже наносит его запахи — тяжелый смрад салотопки, удушье подсыхающих у заборов человеческих шлаков, жирные запахи коптильни. Осеребренная шелухой солончаков, глиняная равнина беспредельна вокруг. На ней, как паруса на горизонте воды, неподвижно стоят верблюды. Ветер гонит пыль, пахнет кочевым дымом: несколько прокуренных кибиток и грязных шалашей приткнулись среди мусора и нечистот на самом ветру.

— Зайдем, — полувопросительно говорит Хохряков, показывая вперед. — Мне нравится этот народ, — они веселая нация. Они никогда не плачут, значит, выйдет толк.

Я смотрю на него недоуменно.

— Рабочий человек должен быть веселым, — говорит он как бы про себя. — Иначе он погибнет. Хорошие у них бабы, надо попробовать.

Юрты стоят в отдалении. Мы подходим к шалашам, слабо курящимся дымом.

— Алма-Ата — ура! — кричит Хохряков и, нагибаясь, приподнимает рваный кусок кошмы, заменяющий дверь.

Ответа нет. В темной яме с трудом можно разобрать нищий очаг с тлеющим верблюжьим пометом, жалкий скарб и завернутую в грязное, засаленное одеяло человеческую фигуру. Никакого ответа. Ледяной ветер врывается в эту пещеру, раздувает красный зрачок очага, поднимает пепел. Хохряков кричит еще, сопит трубкой, и наконец я слышу несколько фраз, гортанные звуки, привезенные им

с берегов Тихого океана. В его голосе странная глубина, нежность. Он зовет кого-то, произносит чье-то далекое имя, повторяет его настойчиво и страстно. Но я ничего не могу понять. Наконец одеяло шевелится, и мы видим лицо — без возраста, жесткие заплетенные волосы, испуганные глаза.

Женщина приподнимается и начинает поспешно кричать, размахивая руками.

— Пошел, пошел! — выкрикивает она. — Хозяин нет, никого нет. Ушел на промысла. Иди, иди, — машет она руками и начинает выкрикивать по-казакски, на языке скрипучем и грубом, как древние колеса истории своего народа.

— Аман! — кричит ей Хохряков.

— Аман, аман! — раздраженно бормочет она, закрываясь лохмотьями одеяла.

Солнце, ветер, тишина. Хохряков сосредоточенно-спокойно оправляет кошомную дверь, сплевывает.

— Живут так себе, — говорит он. — Можно бы и получше.

И мы идем к промыслу, плывущему против степи, этого символа исторического небытия, этого образа не покоренной еще человеком необозримой бессмыслицы.

4

Резалки, разборщицы, укладчицы, солельщицы, — безвестные тысячи женщин, — оставили следы своих жизней на этих деревянных, выщербленных временем деревянных стенах. Отовсюду с досок, рядом с безмолвно-орущими кабалистическими фресками матерщины, глядят они, эти имена, выведенные наивными — широкими буквами. Лена, Ксения, Мотя, Мертина Дуся — весь инвентарь промыслового девичества запечатлелся на заборах, на стенах выходов и нерушимо сохраняется, как традиция.

Бессмыслица старороссийской похабщины еще держится вместе с остатками купецкой ватаги, сохранившейся в навыках, словаре, в приемах варварской и прасольской рыбной премудрости. Деревянная рвань строений говорит за себя. Царство алтына кончилось. Кровопивцевы гнезда сметены начисто, но еще жива закваска, еще не отошли окончательно старые нравы, еще жив жаргон прикаспийского разгульного вертепа, где невежественная промысловая девка была рабой приказчика и хозяина. Надо представить себе всю глушь и оторванность прикаспийского промысла, всю махину жизненного косноязычия и сложность национальной политики в Казакстане, где средние века соприкасаются с самыми передовыми идеями человечества, чтобы оценить и понять трудность задач, встающих перед переустройством северо-каспийской рыбной промышленности, жизни и быта ее рабочих кадров. Бывшие земли Уральского казачьего войска еще дышат кровью борьбы, жестокость и непримиримость которой сравнимы лишь с библией, самой кровавой из книг. Беглые люди и бунтари в древности, потомки Пугачева и Разина, белоуральцы, обманутые мнимой мишурой вольницы и внешним демократизмом, опутанные искусно сплетенной сетью казачьих привилегий и полуфеодальных праз над несчастным киргизским населением великих степей и пустынь, — пали под ударами чапаевских сабель, защищая свои кулацкие, царем данные вольготы, фанатиками религиозной и политической бессмыслицы. Герои тьмы, невежества, кругозора своей колокольни, слепо смотрят последние старики на враждебную их старинному укладу, неслыханную новую жизнь. Казачья станица опустошилась, заглохла. Казачий Урал мертв. Активные формы нового рыбного хозяйства, со ставкой на глубь,

на море, заперли рыбу у Гурьева, нарушив заповедные законы Урала. Отошли рыбные атаманы, весенние и осенние курхаи, плавни, прибыльная ловля на ятовях, удары на рубежах. Нет и в помине знаменитого зимнего багренья с царским оброком первой красной рыбы. И не услышишь былого, хвастливого: «Почему войско Уральское богато? Где пьют и едят, там столы, скатерти бросают».

Уральское казачье войско ушло в легенды. Но оно еще живет — в косности, в неверии во все новое, в убеждении, что богатства Урала все равно пойдут на убыль, что рыба не стерпит. «Птица, рыба и человек, — говорил мне старый уралец, — смысел у ней все равно одинаков. Присовокупляется оно во-время, во-время и одежу надевает. А теперь напугали ее, и пристать ей некуда. Воля рыбе и человеку дадена, она есть жизнь. Закон законов есть воля: птице лететь в океян, рыбе итти вверх, а человеку жить, как он хочет.

В закон законов менее всего верит новый, молодой, социалистический Казакстан. Выкинутый из истории в продолжение веков, заклеванный царскими коршунами, заклятый своими страшными природными стихиями, он угнетал своей беспредельностью, пустынями и солончаками огромные человеческие массы, разобщенные на жалкие кочевые судьбы. Народы, населявшие его пространства, несли в себе все проклятия земли. Кочевой океан, казакстанская Майя, — здесь прошлое подобно барханам: они возникают мгновенно, исчезают, не оставляя следов, хороня следы жизни под сыпучими холмами. Здесь почти не осталось следов прошлого. Небытие наступало воинствующей смертью. Время, ветер, солнце, — они стерли все краски, уничтожили следы жизней, рассыпали глиняные гробницы

мертвых. Каким значительным должно представиться нам стремление Востока к праздничной яркости, его по существу глубоко детское искусство, сказочность его орнаментов перед ликом этой смертной истории — выветренного белого черепа, истлевающего среди песчаных холмов. И какими понятными должны нам казаться тот пыл и та любовь ко всякой внешней организации, которую так быстро усваивают молодые казакские администраторы. В самом деле: нет более трагических и проклятых страниц в истории русских царей и русского капитала, чем те, что перевернуты здесь, на этих беспредельных равнинах. Все образы смерти, все виды унижения, все горести и болезни знает этот народ. Он знал гнев и хищность феодалов, слепую власть стихий, бесправие полного раба, лишенного каких-либо надежд, каких-либо средств для борьбы с беспощадной природой. Но и среди всех других париев, среди других рабов, — исторический хозяин этих земель, — он был последним. Машина эксплоатации сделала его предметом издевательства со стороны всех своих иноплеменных братьев — и по труду, и по положению. И надо сказать, что нигде не развернулся так пышно и полнокровно дух русского царизма и русского капитала, как здесь, на промыслах северо-восточного Каспия. Вся хитрая, подло-изуверская душа русского продувного купца открылась здесь во всем своем великолепии. Гойя и Ропс могли бы увидеть здесь пир своих замыслов. И если первый обнажил бы потрясающий социальный ад, для второго открылись бы картины отвратительных пороков и физической грязи, сатанинских и мистических для глаз художника, лишенного дальнозоркости социального и политического зрения.

Навыки старой промысловой казармы чудовищны

и жестоки. Здесь обнажалось все то, что в осмысленной жизни оскорбляет достоинство личности. Купчики-голубчики всячески потакали национальной вражде: она давала им почти бесплатные руки. Казарма выработала крепкие законы, где незыблемо стояли права более сильного. Русский раб был хозяином раба-киргиза. Казарма имела свою «вольницу» нравов — наивный и ужасный хмель для рабов, жизнь которых была бесконечной цепью однообразных дней сурового труда. Огни промыслов влекли своеобразной богемой. И надо оценить всю безысходность жизни русского человека, если эти прикаспийские вертепы, с их ужасной эксплоатацией, бесправием и жизненной грязью, эти купецкие ватаги, на которых хитрые и невежественные кровопийцы наживали безумный и легкий рубль, могли привлекать своей бесшабашной жизнью, артельными песнями и вольностью промозглой женской казармы!

О так называемой «промысловой девке» до сих пор еще ходят легенды. Промысловая Нана! Среди осклизлой грязи этих досок и бревен, среди гор желтой соли, у заборов, окутанных нестерпимым зловонием испражнений, среди изб и лабазов, где все дышит рыбными испарениями, возникает ее прошлый образ — трагический и все же жизнерадостный, неунывающий, как и все выходящее из недр трудового народа. «Стерва, распутница!— шамкает прошлое из домика на какой-нибудь Хвалынской. — Им, лошадям, все трын-трава». И начинается рассказ, душный как угар, беспощадный закон законов. Легенд этих и рассказов сохранилось большое число. Сюжет их неизменен — лихость и распутство, неунывающая веселость и презрение к людской молве, и всегда — откровенная способность смотреть прямо на вещи. И посейчас

рассказы эти не редкость услышать наравне с анекдотом чисто армейского остроумия. Однако есть и курьезные факты. Действительно факт, что вот этим самым летом на Каменном промысле случился «бабий бунт». Триста девушек, переброшенных на отрезанную морем территорию промысла, устроили «забастовку» из-за отсутствия на промысле русских молодых людей. Директор промысла, исконная «промысловая девка» в прошлом, нашла основания бунта достаточно вескими... И женский вопрос был разрешен соответствующим пополнением, присланным со стороны. Мотивировка промысловых девиц поразила бы, конечно, любую московскую комсомолку и, наверное, возмутила бы до глубины души своей грубой прямолинейностью. Но Каспий имеет свои особые нравы.

А ночная женская казарма! Можно было бы написать целую историю о конституции «ситцевой занавески», этого прообраза прав на личную жизнь. Необыкновенные хитросплетения жизненных узоров обрисовались бы в этой истории, и Соломона пришлось бы искать, чтобы разрешить сей щекотливый вопрос. Сейчас он решен паллиативно. Счастливым парам запрещено пребывать в женской казарме после десяти часов вечера. И запрещена занавеска. Ибо нельзя же каждую ночь обыскивать эти лукавые девичьи уголки! Но нет такого препятствия, которое победило бы человеческую изобретательность. И директора промыслов озабочены хотя бы элементарным врачебным контролем, оставляя область морали тому трудовому распорядку, что лучше всех охраняет правоту человеческих отношений.

Трудовой же распорядок промыслов героичен. Нельзя найти другого слова, не преуменьшив факты.

Да, еще остались старые пережитки, еще живы некоторые традиции, но все это лишь слабые отзвуки старины. Проституция всех оттенков навсегда исчезла с приходом советской жизни. Промысловая девушка достаточно защищена, ей не нужно зарабатывать право на работу подчинением хозяину, приказчику, мастеру. Но старый артельный дух, традиции «веселой жизни» вдали от семьи, культурная отсталость и, главное, специфическое мужское отношение — еще налицо. И это отношение более всего становится ясным, когда слушаешь рассказы и более всего следишь за рассказчиком. Обманчива жизнь. Назойливо груб, нищ и невежественен еще быт. Отрицательные стороны его вопиют. Глубочайший смысл жизни доступен лишь внимательному глазу, умеющему охватывать разнородное в единую систему явлений.

Я внимательно слежу за Хохряковым. Мне интересно увидать его здесь, в царстве женского труда, среди безвестных сотен резальщиц, сортировщиц, солельщиц, — его, спавшего с женщинами всех стран. В тусклом свете лабаза я не свожу глаз с его плотной фигуры, с трикотажной шапочкой. Я вижу, что он чувствует себя отлично, он — свой здесь, где малейшая поза вызывает неугомонный хохот и беспощадный приговор смелых в своем пестром девическом стаде женских голосов. Они поют, не обращая ни на кого внимания и вместе с тем замечая все, перекидываясь репликами, от которых краска бросается в лицо.

...Это будущий пролетариат той новой страны, что зарождена среди самой пустынной и безотрадной природы смелым творчеством эпоса стального пятилетия. Это кадры тех гигантов-комбинатов, где рыбные потоки Каспия будут перерабатываться на отличную пищевую продукцию средствами пере-

довой техники. Их будет пять. Пять грандиозных машинных комбинатов, что должны переделывать природу, рыбу, быт и, в основном и решающем, сырую человеческую психику. До этих дней осталось совсем пустяки. Первый рыбо-консервно-холодильный уже покорил плоский берег Урала, где год назад самодержствовал ветер и беспамятствовала пустыня. Они, женщины, — пока что еще полуремесленники, временные рабочие, деревня, партизанки труда.

В просторах зданий, что примут их труд, конечно, не будет промозглого тумана испарений и резкого холода, залетающего сюда из ворот, распахнутых прямо в реку. Рыбные тачки, первобытные чаны, окровавленные ножи сменятся бункерами, консервными кухнями и химией, совершенными, молниеносными и чистоплотными машинами. Сейчас же длинный коридор разделочной прохватывает до костей. Так сыро, дико и грязно, что женские песни неправдоподобны. Быть может, это дно человеческого труда. Быть может, это самое нечистоплотное и необорудованное производство.

Возле каждой из женщин груды наваленной прямо на пол скользкой, уже костенеющей рыбы. Варежки, в которых плотно зажаты рукояти ножей, насквозь промусолены кровью и слизью, фартуки стоят коробом от впитавшейся зловонной сукровицы. Здесь есть совсем молодые, есть старейшие и бывалые, проведшие в лабазах десятки лет жизни. Эти десятки лет жизни давали прежде только сомнительную репутацию. «Промысловая девка» ставилась моральной пробой на женской судьбе. В этом слове соединялось презрение к черному, неблагодарному и грязному труду, лишенному всякой и, прежде всего, материальной перспективы, и та худшая черта раба, что склонна презирать бедность

и неудачи. Под двойным презрением и гнетом формировалась здесь психика парня и, совершенно естественно, находила себе самозащиту в особом ухарстве и подчеркнутом неуважении к достоинству личности. Люмпены, босяки-женщины — неисследованная и сумрачная страница «ужасов и страхов России».

Революция свершила грандиознейшее. Революция вернула достоинство работнице промыслов. И это достоинство выразилось уже полностью в новой психике труда, ибо и здесь уже доказано и утверждено то, что и в самой примитивной профессии есть возможность творческого начала, облагораживающего однообразный и утомительный трудовой процесс.

Среди резалок есть удивительные виртуозы ножа. Методичность движений, экономия сил в размеренности каждого приема, необыкновенная ловкость, — можно любоваться всем этим и можно понять, сколько гордости и удовлетворения принесло здесь соревнование, впервые в истории рабочего класса поставившее труд как индивидуальную творческую способность, дающую право на руководство и рабочий авторитет.

...Ножи резалок мелькают с неуловимой быстротой. Сегодня бригада Чумаковой поставила новый рекорд. В бригаде круговая порука — она у всех на виду. Седая толстуха, четверть века просидевшая на разделочной скамейке, подгоняет молодых. Разговор непередаваем. Самокритика оперирует лексиконом, задирающим окружающее, как бабий подол. Между реплик, убийственных по натурализму, пение частушек — выщебетывание тонкими, неестественными голосами, греховодное пение, поражающее скопом особой женской точки зрения, противопоставляемой здесь всем остальным с особым упор-

ством. Кокетство — сногсшибающее. Оглушительные промысловые моды. Юбки, укороченные до самых бедер, румяна, пудра, острокритика мужчин. Особая оппозиционность ко всему и ко всем, непонятная и обманчивая для тайного антисоветского злопыхателя, и понятная нам, — слишком свои, семейные отношения у этих женщин с партией и властью. Их недовольство — по принципу семейных сцен. Их ревность к классовой правде — ревность своего домашнего свойства. Ненависть ко всему паразитарному, барскому, нетрудовому — накаленная, — этих не проведешь ни ласковыми словами, ни жестами, никакой патокой и никаким словесным маслом. Удивительная любовь к детям, обожествление чистых, хороших отношений в семье. И острая тоска по настоящей, «порядочной», как сказала мне старая резалка, ответственности и верности со стороны мужчины. И везде и всегда ревностное отношение к суждению о профессиональном умении. Боже сохрани, если похвалят или наградят зря! Если у писателей существует так называемый «гамбургский счет», то здесь он ведется с неумолимым педантизмом и потрясающей наблюдательностью.

...Директор промысла Иван Николаевич не обращает на все это ни глаз, ни слуха, он изнуренно озабочен, работа поглотила его полностью, он знает здесь каждого человека в лицо, он привык. Все тело его давно привыкло к суровости, к власти над собой, к дисциплине, ответственности. Но глаза голубой ясности и внутреннего внимания сразу опровергают внешний облик. Я знаю, что он любим всеми, и догадываюсь — почему. Ленинградский пекарь несет в себе большое спокойствие твердой общественной уверенности. У него есть тот величайший дар целомудрия к самому себе, который так харак-

терен для крупных людей рабочего класса и дает им силы и волю направлять и судить жизнь. Этот человек глубокой верности — и поэтому сердечного спокойствия. Все неясное в себе или в других, все драматические положения человеческого «я», которые он не может оценить обособленно, он решает ясно и твердо в пределах «мы». Говоря с ним, я невольно вспомнил Гамсуна, тончайшего поэта, создавшего величайшую и грустную музыку беседы одного человека со вселенной... «Что я могу ответить, — писал он в своем письме к нашей стране,— на вопрос, как надо жить? Может быть, мне скажут что-либо ветер и звезды... Одно я знаю: для движения цивилизации нужно душевное спокойствие. Есть ли оно у вас?»

Есть ли оно у нас? Я смотрю в глаза пекаря Ивана Макарова, слушаю его речь, он отвечает старому норвежцу, его Нагелю, лейтенанту Глану, художнику из «Розы». Он повторяет опять «мы», этот образ величайшего смысла и душевного спокойствия.

— С пролетарской точки зрения, — говорит он,— я после это понял... Сам я вначале не мог понять промысловую девушку. Мне казалась загадочной ее психика. Я боялся этого дикого стада, ругани и должен признаться: краснел, не мог подступиться... Вы сами видите, где уж тут до культуры. Но у нас есть другие средства... Стоит лишь организовать определенную ячейку, дать ей задание, создать ответственность — и уже можно работать и говорить. Раньше одна Дашка сказала—все за ней. Ну, а теперь? Вы посмотрите сами, насколько крепко сидит в них рабочее самолюбие и как ревностно начинает работать какая ни то Марфа, когда соревнование ставит ее на виду у подруг. Даже в стандартной работе тогда начинает играть творческая мысль. У нас за последнее время огромная

масса всевозможных рабочих предложений. А ведь рыбное дело — грязная и трудная работа! Да и в самом деле, вы посмотрите: руки у них сплошь изъедены солью... При ручном труде это, к несчастью, почти неизбежно. И варежки не помогают, да и мешают работе. И вот подумайте: придут утром, опустят руки в тузлук, а слезы так и бегут. Но, прошло полчаса, ушам не веришь! Хохот, песни, и какая работа! Должен вам сказать, — говорит, понижая голос, директор, — этой публике ничего не стоит прогулять ночь... Хоть бы что! Ни в одном глазу. Работают друг перед другом, ударник на ударнике. Да иначе и не могло бы быть. Ведь у них столько неизрасходованных сил и полная невозможность куда-либо их приложить. У нас культурная работа ничего не стоит... Все это надо создавать почти на чистом месте. И вот — работа. С пролетарской точки зрения это есть героизм масс, плюс новое сознание, плюс неорганизованная психика, старые анархические душевные привычки, плюс казарма и все это паршивое деревянное барахло... Сквозная бригада, — заканчивает твердо Макаров, — перевернула весь промысел.

У директора в лице еще сохранились краски юности: он обманчиво глядит незамысловатым и мирным пареньком.

— Америка солит только шесть процентов сырца, — говорит он, спокойно поглядывая на горы великолепной рыбы. — Мы вынуждены солить шестьдесят шесть процентов. Это порча ценнейшего товара, гибель народного достояния. В два года мы прекратим все это безобразие. Факт! Я жалею только об одном: казакский язык для меня китайская грамота. Но я уже свыкся. Вы хотите посмотреть на наш народ? Приходите сегодня в клуб. Мы будем награждать ударников. Да, ко-

нечно, это для вас будет интересно. До свиданья!

...Хохряков стоит, окруженный резалками. В руках его скользкий колючий судак, обтекающий холодной слизью. Он привычно переворачивает рыбу, чертит по ее брюху пальцем, объясняет. Я открываю в нем новое: он великолепно вежлив, деликатен, в голосе его интонации необычайной дружественности, простоты. Он обращается с аудиторией, как директор цирка, не оставляющий без внимания ни одного голоса с амфитеатра, как врач, знающий всю подноготную жизни и обращающий к ней дружескую простоту, во всеоружии всех своих прав. Девушки уже смотрят на него восхищенно. Этот бродяга видел все: он знал голод, нищету, драки, но он хозяйски щедр к жизни, его не обманешь внешней мишурой, он чувствует себя равным везде, где есть рабочие руки. В нем солидарность. В нем — ни малейшей позы. Он не знает обид, обезоруживает самые бойкие языки своей ровной предупредительностью. Вот он каков, оказывается, этот человек, уважающий даже злейшего врага за хороший удар!

— Ишь ты! — певуче говорит ему высокая, синеглазая, с нежной розово-сахарной кожей и могучей, обвисшей грудью под замусоленным фартуком. — Чай, хуже народа-то нашего и нет! А ты врешь, больно мы хороши. Ай не видел лучше? Ай лучше нет?

— А чего нам лучше быть? Ты возьми ее: она ни с кем не спала.

— Возьмет, дожидайся... После второй пятилетки!

— Ха-ха! Хи-хи!

— Девушки, не толкайся. Человек идет.

— Ишь ты, в шляпе! Американец!

— Наська, Наська, сдери с него... Може, там...

— Эй, девушки! У него в штанах-то...

— Ха-ха-ха! Дуська, дура!

— Эй, иди поработай за нас. Надень варежки.

— В шляпах-то не работают...

— Цыц! Озорные! Подумают, что мы охальницы.

— А нам на...

— Стой, девушки! — говорит Хохряков. — Дай-ка нож. Пусти, не мешайся... Скоро резать вот как будем. Гляди. Постой, постой, ты не гомони... Резать будем вот так...

Стихает. Он уже за станком, на узкой промозглой лавке, в руке его нож. Он уверенно хватает огромного судака...

— Ой, запачкаетесь! — вдруг спохватывается высокая.

— Да вы что, в самом деле, человека обступили? Накинулись. Вы бы, гражданин, постлали что-нибудь...

— А ты уж влюбилась... Наська, дура!

— Ничего, — спокойно говорит Хохряков, ловко разрезая рыбу с брюха и уже освобождая ее костяк продольным движением ножа. — Вы за меня, Настя, пойдете?

— Пойду. Ей-богу, пойду. А чего это вы, кости вытаскиваете?

Хохряков работает быстро, не отвечает. Он уже распластал рыбье туловище: оно как плошка.

— Ты поучи их, поучи! — наставительно говорит пожилая резалка с ножом в руках. — Поучи их, хороший человек. Они, дуры, ничего, кроме деревни да казармы, не видели.

— Так и не видели!

— Тетка Марья, ты у нас женихов не отбивай!

— Авось, и отобью, — спокойно продолжает женщина, отирая нос рукавом. — Нонче всем жить захотелось. А их-то, голубчиков, кажная баба любит. Сладкого на всех хватит, девоньки.

Она не сводит настороженных глаз с рук Хохрякова. Тот уже вытащил рыбий позвоночник и освобождает туловище от последних костей.

— Вот так! — говорит он. — Это клипфиск, самая лучшая разделка. Ее в особенности ценят в Англии.

— Ишь ты, в Ан-глии... Гляди, как разделал!— ревниво, явно профессионально-ревниво ворчит пожилая. — Неужто я не сумею? Двадцать лет режу. Дай-кося попробую и я, хороший человек!

— Ты, мать, подожди! — спокойно отстраняется американец. — Я тебя научу. Так. Вот что, девочки: скоро все это машина станет делать. Готово!

— Ой ли? «Машина, машина»! А мы куда пойдем, хороший человек?

— Управлять. Работы до чорта. Рабочему человеку сидеть на одном деле всю жизнь не годится. Инженером будешь.

— Инженером! Хи-хи. Она и так зажилась!

— Вы бы руки обтерли, — говорит ласково и смиренно Настя. — А на их вы не обижайтесь. У нас девушки хорошие.

— Куда лучше! — сердито ворчит пожилая. Ей не терпится, я это отлично вижу. — Кли... кли... склизк... И не выговорить мне по-аглицки. Ты как ее сначала, со спины али нет?

Американец небрежно вытирает руки о Настин фартук, объясняет. Внимание совершенное. Настя вся рдеет от счастья — огромная, чуть сгорбившаяся, уже поверившая во что-то несбыточное, уже плененная, полная достоинства от внимания этого странного человека в трикотажной морской шапочке.

Возле пожилой круг напряженных лиц, — она режет.

Через минуту американец критически рассматривает распластанную и освежеванную рыбину. Он удивлен и поражен.

— Отлично! — говорит он сдержанно. — Кто учил вас?

— Никто не учил! — резко и ухарски вдруг гаркает пожилая. — Я без штанов всю жизнь прожила! Девки! Довольно зубы точить!

И она запевает диким пронзительным голосом, и весь лабаз подхватывает тонкими голосами.

...Ножи резалок неутомимо мелькают над скамьями. Рыба, рыба и рыба! Течет липкая кровь. Промысел вертит колеса привычно размеренного и убийственного труда.

— Русские девушки — самые лучшие в мире, — говорит мне Хохряков пять минут спустя, шагая по плоту и сплевывая в неприютную вечереющую воду. — Они умеют печь пироги с капустой. Они поют и смеются, как испанки. С русской бабой я бы остался в Мексике. И это ничего, что они так ругаются. О, это — товарищи! И они не боятся ничего.

Мы идем сквозь туманный вечер, полный огней, дымов, ужасных запахов, заунывных песен. Избы дымятся. Морозный воздух наполняется темнотой. Электрические сияния ослепительны. Американец прислушивается к бабьим звонким голосам, и мне кажется, что на его твердом, лоснящемся лице лежит тонкий свет легкой грусти.

— Красиво! Очень красиво! — вдруг говорит он и произносит опять загадочные для меня слова на непонятном и чуждом языке.

Может быть, он произносит чье-то имя?

— Когда я раз умирал, — да, когда я умирал, — знаете, чего мне хотелось?

— Ну?

— Мне хотелось, чтобы возле меня поплакала русская баба. Понимаете? Я умирал от тропической лихорадки.

5

Чудом кажется этот вечер, заброшенный в низкий бревенчатый зал, окруженный сбившимся жарким дыханием, под сотнями глаз, у стола президиума слета ударников старого Лицевого промысла.

Зал смутен и непрогляден. Электрические лампочки едва справляются с мраком. Зал дышит в лицо банной, обжигающей духотой. Люди, сидящие на лавках, слились воедино. Я вижу лишь космы бараньих шапок, гигантские голубоватые чалмы казакских женщин, слышу гул, аплодисменты, живой рокот человеческого моря. С театральной сцены, ослепленной рампой, звучат слова председателя. Оттуда, из жаркой полутьмы, они возвращаются прибоем гула, смеха, непонятных криков. Волны звуков набегают, заливают сцену, возвращаются, опять голос председателя наступает на зал, и опять его отбрасывают волны.

Слет открыт. Его символ — опадающий малиновый бархат и шелк знамени первенства — осеняет угол сцены. Знамя гостит здесь уже третью путину. Сегодня ораторы подведут итог: промысел вновь перевыполнил план на сто два процента. Сегодня ораторы заявят новые цифры — четверть миллиона центнеров рыбы как призыв, как задание.

Дышать с каждой минутой становится все труднее и труднее. Я вижу подготовку к самому торжественному моменту: в кулуарах сцены с загадочными декорациями римских колонн уже расположился оркестр гитаристов и балалаечников, тут же сложены груды подарков — свертки мануфактуры, перевязанные шпагатом. Это все Мистин — бледный

энтузиаст производственных совещаний с приподнятым дискуссионным голосом, вечный спорщик и организатор, это все он. Порой мне кажется, что оживают времена дивизионных политотделов: так кажется знакомой его фигура в черной кожаной куртке, его белесые, сдвинутые брови на обескровленном чахоткой совсем еще юношеском лице. Но председатель говорит, заступая каждого оратора. Он говорит неутомимо, по любому поводу, комментирует каждое выступление, переводит на казакский язык, — я замечаю, что говорить — его страсть, я замечаю, что казакская речь его покрывается восторженными аплодисментами, я замечаю национальную горячую ревность, кипящую в зале.

Президиум особенно горячо и страстно переживает каждое его выступление. Возле меня сидит высокий и худощавый человек с длинной меланхолической бородкой. На нем синий полосатый халат; высокая, опушенная мехом шапка придает ему вид алхимика. Он слушает казакскую речь, повторяя губами каждое слово, покачиваясь корпусом в такт речи. На лице его написано глубокое наслаждение и вместе с тем настороженность.

— Тишь... Товарищ, тишь! — вскрикивает он, ревниво оберегая блестящего оратора Суйналеева от реплик и шума. — Тишь! Э-э-э... — и он укоризненно покачивает шапкой.

Оратор Суйналеев, председатель Суйналеев, промком Суйналеев говорит, не уставая. Речь его льется и льется, в нее причудливо вплетаются русские слова: «партия», «ударник», «промфинплан», и Суйналеев выкрикивает их громче, чем другие, заостряя голос, потрясая руками.

Мы видели, как к рампе подошел Иргалий Турманов, член Казакстанского Цика, член прави-

тельства огромной страны, разметавшейся вокруг мертвыми песками, снеговыми хребтами, поднятыми к самым облакам, пучинами озер и морей, страны, потерявшей историю несколько веков назад и теперь выходящей из своей песчаной могилы. Не из зала— из мрака исторического небытия, из глубин степей, из туманного прошлого выходил он, — это закричали сотни голосов, это сказал рев переполненного зала, неистовство аплодисментов. Человек в синем халате встал и закричал «ура», весь зал подхватил этот крик. Оратор Суйналеев возбужденно замахал руками, — понадобилось несколько минут, чтобы водворить тишину.

Иргалий Турманов стоял и ждал. Последние шумы и крики упали и стихли. В огромной шапке с обвисшими космами черно-седой овчины он стоял, могучий и плоский, опустив длинные, как весла, рабочие руки, являя собой, поистине, всю судьбу, прошлое и настоящее своего народа. Мы увидели его глаза, наполовину ослепленные бельмами, желтую кожу лица, изрытую черной оспой, редкую бороду аскета и, когда он снял шапку, закинутый куполообразный лоб мудреца и созерцателя.

Подняв глаза кверху, он произнес несколько слов, глухих и непонятных нам, не владеющим языком Казакстана. Наступила пауза. В зале прыснула русская девушка.

— Тишь! Тишь! — укоризненно закричал человек в синем халате.

Турманов сказал еще несколько слов, поднял палец. «Партия»,—услышал я,—он вдруг заговорил быстро и уверенно. Председатель и промком Суйналеев, потный и напряженный от волнения, нагнулся к нему своими нависшими усами и бритым подбородком. Я видел, что он приготовился подсказывать совсем как школьник: он не мог утер-

неть и сейчас, неутомимый вождь промкома. Да, я видел все это, и я слышал восторг зала, превращенного вдруг в неимоверный шум, «ура», дикие вскрики, огни, в струнную музыку оркестра. Я видел пекаря Макарова, краснолицего и отиравшего лоб, слышал его речь, воплощавшую политические лозунги, знакомые слова, положения генеральной линии в язык насущных дней жизни, в живые факты, в цифры, сведенные к итогу повседневной энергией живых человеческих рук.

В его простых словах отчетливо и ясно выступало главное — великолепная диалектика жизни, идущей наперекор всем стихиям бессмыслицы, жизни, имеющей самые широкие мечты и побуждения и созидаемой самыми житейскими и простыми делами, самым элементарным и вместе с тем героическим трудом. Да, техника производства старого Лицевого промысла еще стоит на варварском уровне. Да, еще не создана новая казарма, не изменен полностью быт, не поставлена на должную высоту культурная работа. Но, самый несовершенный технически, он оказался передовым по трудовой организации, по новым формам трудовой дисциплины и заинтересованности рабочих. Среди рабочей массы рыбников, пожалуй, самой отсталой в культурном отношении, формы социалистического соревнования дали удивительные результаты. Горячий дух этого убогого зала, напряженность внимания и ревность к каждой оценке говорили это без слов.

Директор Макаров подтверждал эти мысли цифрами: всякое дело, напряжение, заслуги и пороки были зарегистрированы и подсчитаны, таблицы и гигантский циферблат висели на плоту, и черная стрелка ежедневно отмечала движение работ. Да, это была новая жизнь, новые дни, новые песни.

Иван Николаевич кончил говорить. Когда стих зал, слово получил опять Суйналеев.

— Товарищи! — начал он. — Директор товарищ Макаров в своей блестящей речи...

И он начал говорить, как всегда — с наслаждением, а я видел, как человек в синем халате повторял беззвучно каждое его слово губами. И директор Макаров безнадежно махнул рукой.

Он наклонился ко мне, потный и красный. Как? Меня не утомило еще ораторское искусство? Бог ты мой, он немного устал от говорильни. Он только что из треста. Там заседают каждый вечер. Казаки говорят больше всех. Да, да, он согласен, что народ впервые дорвался до родника живого слова. Он согласен: Суйналеев дорвался до живой воды, как сожженный зноем кочевник дорывается до колодца, Суйналеев пьет и пьет, не отрывая губ, не поднимая головы от ослепительно вкусной прохлады и свежести. Но он пьет слишком долго, великолепный оратор Суйналеев.

И все же праздник ораторов кончился. Зал уселся крепче, передохнул. Торжество приближалось, напряжение достигло полного завершения. Теперь слово Мистину. Оркестр приготовился. Президиум уже нагружает стол увесистыми свертками, на которые прицелились сотни настороженных глаз.

— Товарищи! — звенящим голосом провозглашает Мистин. — Герой соревнования — это тот, кто не только хорошо работал, но своим примером, словом и делом заставлял подтягиваться других. Буржуазные страны не знают такого труда. Наши ударники не побивают других, не берут призов. Наши ударники помогают отстающим, учат более слабых. Кто этого не понимает, тот не передовой рабочий, не верный солдат нашей партии.

Пауза. Гром аплодисментов. Крики: «Правильно!», возгласы, восклицания из президиума: «Товарищи... Тишь! Тишь!.. Э-е...»

Мистин. — Я прочту список сначала полностью. Я читаю. Бирюкова Наталия. (Повышенно грудным голосом.) Выполнила встречное задание на сто пятьдесят пять процентов... Премируется...

В зале чистейшая тишина, после каждой фамилии шум, как порывы ветра. Оркестр подобен взведенному курку.

Мистин. — Якунина Антонина... Петриенкова Агриппина... Привалова Маруся... Чумакова Марфа...

Оратор неожиданно останавливается по причине близорукости. В зале полный штиль. В оркестре легкий шорох.

— Премируется, — повторяет Мистин, — как лучшая из лучших...

Голос его вибрирует на пределах высот, замирает, и вдруг гигантский сноп звуков, дробь балалаек, перебор гитар, возгласы мандолин и пузатые звуковые бочки барабанных ударов сокрушают тишину, взрывают молчание, поднимают вихрь и вместе с гулом, криком, аплодисментами превращают зал, людей, президиум в победоносный смерч ослепительного шума.

Он сокрушает на своем пути все. Напрасны старания Суйналеева, напрасны его призывы! Музыканты играют цирковой марш, его такт подхвачен ногами, ритм завладел залом, и Мистин, как щепка, подхваченная ветром, уже несется в потоке, предоставленный воле стихии.

— Музыка! Музыка! Остановить! — кричит Суйналеев.

Но тщетно: подарки уже пошли по рукам, человек в синем халате распаковывает их, показывает

игру ситца, гордо размахивает полотнами в воздухе, прищелкивает языком, и гул одобрения докатывается до нас вместе с нестерпимо жарким дыханием вставшей со своих мест толпы.

И люди идут на сцену.

Ударницы резалки! Я видел их выходящими из жарких тисков набитого битком зала, я видел их на сцене, во всеоружии промысловой моды — в коротких саках, из-под которых их круглые могучие колени пылали неистовыми фиолетовыми, малиновыми и красными шерстяными чулками, в платочках всех цветов, из-под которых их полные, остроглазые лица горели смущением. Я видел их праздничность, нарядность — неунывающую, всепобеждающую жизнь, перед которой бесследно исчезали зловещие наговоры пошлости. Их чествовали, ради них играла музыка, ради них произносились речи, ради них это внимание, этот почти детский восторг, эти народные аплодисменты. Я видел их руки, изъеденные солью, исколотые, израненные о рыбьи кости, я слышал слова мужского уважения к их труду, и я должен сказать: никогда и нигде я не был свидетелем подобного праздника.

Музыка не щадила струн. Не все ли равно, что порядок был сорван и оркестр нарушил торжественность плана Мистина! Я видел, как на сцену вышел старый мастер Поляков, человек, сорок лет проведший в рыбных лабазах купецких ватаг, знавший всю подноготную старого промысла. Этот человек видел все. Быть может, этого плотного, массивного лица, этих челюстей, поросших жесткой щетиной, этих щучьих глаз, этой широкой, оплывшей фигуры боялись как огня на промысловом плоту. Быть может, и он когда-нибудь пользовался своими неограниченными правами доверенного своего хозяина, ибо кто не знает, что таксе

старый мастер прикаспийской ватаги? Быть может, и он был старостой в хозяйском гареме, где законы были жестки, непослушание невозможно, расправа коротка? Не знаю. Но сейчас ему хлопают сотни рук, он взволнован, на глазах его слезы. Его приветствуют женские одобрительные крики. Итак, да здравствует старый мастер Поляков!

Но как много крика и музыки! Я не знаю, почему оркестр заиграл «Светит месяц», почему он отказался от туша, когда русские имена кончились и когда Мистин, водворив порядок, выкрикнул степные слова:

— Суменов Айтманбет... — сказал он, и тут началось необыкновенное.

Действие музыки для меня загадочно, и более всего мне непонятны законы соответствия ее настроениям и запросам людей. Но я хочу сказать, что неизвестный струнный оркестр в глухом, как Камчатка, городке Гурьеве, в этот вечер, закинутый уже в пропасть памяти, нашел средства выразить все настроения людей. Когда мелодия вырвалась на простор этой удивительной песни, увлекающей вперед, как широта деревенской улицы, все крики, шумы и аплодисменты подчинились все нарастающему ритму, и зал стал притопывать, сначала осторожно, потом уверенней и уверенней и наконец самозабвенно, забыв обо всем остальном. Аплодисменты подчинились мелодии. Такт завладел ладошами. Зал перешел в пляску, все быстрей и быстрей, и я видел, что движений уже нехватает, что еще момент — и зал сорвет с места, что рождается громовой, победоносный ритм, противостоять которому ни у кого нет сил.

Все громче, громче, уверенней! Я видел, что оратор Суйналеев уже забыл о светской школе адми-

нистративной культуры, и все его туловище ходит, а ноги неутомимо перебирают пол. Человек в синем халате бил ладонь о ладонь и не кричал свое «тишь». Рядом с ним пожилой казак в резиновом плаще и летней панаме блаженно подкрикивал музыке, его ладони работали не уставая. Это был вихрь, радость тел и мускулов, порыв, выражение всех затаенных чувств, веры, уверенности в себе. Это было детство, неумирающее, вечное детство народа, впервые ставшего подлинным народом. Это был праздник в полутемном зале, далеко от больших городов, в глуши пустынь, под звездами Казахстана. В даль, в ночь, к миру, унося беспредельный восторг неизвестных людей, соединяя воедино все безвестные судьбы, под хлопанье, крики, удары ног, под женские визги, летели мы все, видя светлые страны, все более широкие и необъятные горизонты, к солнцу прекрасного смысла, к берегу моря неиссякающей жизни, в года, в надежды, в музыку. Мимо, мимо вы, мимолетные скорби, тяготы, тени прошлого, зловонные казармы! Мимо вражда к иноплеменным, — мимо, мимо! Светит месяц, светит яснее, плывет над селами, аулами, городами, озаряет мир, могилы, прошлое, настоящее, будущее, и вот они — новые, дерзкие к неправде, к лени, к косности, к несправедливости, они — народы мира, вместе, плечо к плечу, — они — единственный смысл, единственное, неповторимое, ценнейшее земли, неба, облаков, звезд...

Музыка пала.

6

Спокойной ночи!

В пустынях тьма, великая тишина, и у моря, за рекой, у домов, у могил — бесправие голодной, пустой земли.

Дичь. Тишина спящих. Директор Макаров спит под стеганым одеялом на деревянной, некрашеной кровати. На земле глинобитной землянки спит товарищ Турманов, член Казакстанского Цика, рядом со старухой-матерью, не знающей ни одного русского слова. Дряхлы кошмы, дряхлы ковры на полу, тикают дешевые московские часы на стене, бродит сон. Бродит сон—старый, сказочный, непременный. Иргалий Турманов бормочет и шевелит губами, и во сне все твердится букварь, которым он занят, уча на старости лет премудрость российской грамоты. Снятся ему еще пустыни, верблюды, промысла,— никто никогда не расскажет, что ему снится.

Город во мраке, лай собак заунывен, лишь бессонное зарево над Эмба-нефтью и холодильником борется с полночью. Да, сколько людей безмолвствует сейчас в потемневшем мире! Земля здесь впитала прошлое, как влагу, и молчит как всегда. У церкви, на берегу Урала, догнивают кресты. Здесь лег побежденным генерал Мартынов, павший в бою двадцать четвертого января тысяча девятьсот девятнадцатого года, как рядовой боец и командующий фронтом, защищая Уральск, столицу белого казачества. Спят под землей атаманы, офицеры, бородатые уральцы. Нет им славы, ибо они оживают лишь с легендами о ненавистном прошлом. Но есть иные мертвецы, чьи смерти вечно жгут, как глагол. От Уральска до Гурьева — по всей пустынной земле сокрылись могилы наших бойцов,—нет им числа, нет меры страданиям, успокоенным смертью, нет слез и гордости, равных перед их судьбой. Величава их слава, нетленна память, ибо они оживают в наших делах, освещают будущее.

Ночь течет, земля плывет под звездами, с моря в воды старого Яика идут косяки рыбы. Пустыни безмолвны.

Американец Хохряков ушел с Настей, резалкой старого промысла, в бездонную степь. Там, наедине с небом, с ночью, с мерцанием светил, он рассказывает ей о портах и океанах, о Мексике, где женщины никогда ничего не просят, об Испании, где бабы похожи на русских, о том, что она, Настя, узнает, когда Мексика станет Россией. Она умиляется и плачет, когда он говорит о пирогах с капустой. Она будет горевать о нем, как о прекрасной мечте, в своей деревне на берегу Волги.

...Жизнь! Как мы любим тебя, как жадно и ненасытно глядим в твои человеческие глаза! Нет, нет! Не то, что я слышал, не то, что читал, совсем не то. Вижу я — чище, лучше, осмысленней, мужественней предстоишь ты в своих трагедиях, драмах, веселых комедиях. Из сырых природных сил возникаешь ты подобно электричеству, этому интеллекту материи, в игре противоречий соединяешь ты минус и плюс, положительное и отрицательное, и только тогда, когда два провода замкнутся и дадут жизнь свету, ты являешь нам богатство огней, миллионы маленьких солнц, мириады миров, сонмы судеб, движение в безграничную и вечно растущую страну смысла.

Не дистиллированная вода, не идеально чистый звук, очищенный от обертонов, твои стихии. И то и другое — мертвое, обеспложенное, противное вкусу и слуху.

Вот она, эта жизнь, вот она предо мной во всем своем растрепанном великолепии творчества. Вот труд, творимый самыми отсталыми народами, и вместе с тем — самый передовой, самый осмысленный и героический труд. Вот огни старого промысла, пронзающие мрак. Здесь я видел и слышал лучшее, что можно отыскать сейчас в мире. Но оттуда и сейчас наносит варварские запахи, там люди

спят в зловонных бараках, новые души живут еще в старых отрепьях. Но дальше я вижу другие огни, огни воссоздания, электрические возгласы генеральной линии, призывы класса-победителя, огни над машинами, уничтожающими гниение, огни над будущими, сохраненными и замороженными богатствами.

Они зовут, кричат, призывают, толкают сильных, поднимают слабых, борются со степью, пронзают небо и уже властвуют над прошлым, досыпающим последние часы в кибитках и шалашах, продуваемых насквозь ледяным дыханием пустыни.

Москва. 1931

Колчак и Фельпос

Был у нас Ягунов — портной из Ярославля, такой, конечно, лгун, матерщинник и игрок, здоровый и краснорожий, прямо-таки антилоп... И звали его Сашкой или Колчаком. Почему «Колчаком» — неизвестно, но звали так. Был он из себя сырой — изо всего дивизиона, — потный, облупленный, а глаза, как стаканы: пустые и светлые. Волосы у него были сальные, в отсвет, с начесом, и вся рожа в прыщах... Одним словом, Сашка!

Сашка — портной, и шьет бекеши и штаны с пузырями. А городки в садах, акации как зацветут — невозможно дышать... И, конечно, музыка, и ночи, и вальсы, и эти самые пузыри. Имел непрерывные заказы человек, и прославился. Шил штаны он и командиру дивизии товарищу Блюхеру, и прочему комсоставу поаккуратней. Привозят ему, например, под Уральском доху на чистом еноте, цена ей неоценимая, и вся крыта офицерским сукном. Так и так, — говорят, — просил вас, уважаемый товарищ, наш командир перешить эту вещь на бекешу пехотного образца, с фасоном, конечно, — срочно, прямо в бой... Сашка клялся, что лучше бекеши по всему фронту не сыщешь, глазом не сморгнул — полдохи вырезал, и шапки продавал с чистейшим енотом... Ну, и шапки были! Енот, как усы, верх черный, одним словом, солдатская радость...

Сами видите, — дешевый и нестоящий человек и, кроме того, ругатель, ругатель всего быта и человечества.

Стояли мы, в момент всей трагедии, за Каховкой. Такой попался душный хуторок — сплошная скука. Кругом акации пылятся, на халупах черепицу всю повыбило, из населения — одна курица и полумертвая старуха. На улице тоска, пыль, жара страшная; сияет и горит на степи, как никелированный самовар. И вдобавок скука смертная. Ночью не спишь, все бродишь, а ночи там темные, бархатные... Папироски углями краснеют, акации шелестят, и старший писарь на пустой гитаре играет... И какой это, спрашивается, отдых? Бессонница одна с воспалением мозгов!

Белые были рядом; все лошади в запряжках, всю ночь дудят телефоны, — нет тебе ни сна, ни покрышки... А тут еще в самую глухую ночь: тук, тук, тук... Вскакиваешь, на сердце лед — и прямо к орудиям... Темь — хоть глаза выколи, впереди стрельба, крик, и ни чорта не разберешь... Нужно было нам кончать войну. Так и писали в нашей газетке: «задави гада», «загони его в крымскую бутылку»... А как его, спрашивается, загнать, если он не лезет? Социальная загадка. Да...

Днем нас мучила жара и пыль. Мухи не давали покоя по халупам, жужжали, как сама мертвая скука. Выйдешь в степь: ничего не видно, обдаст всего белым жаром, ослепит.

И что делать ему, ругателю всего быта, портному нашему, проклятому Колчаку?

Конечно, идет он к писарям, в самый большой и разнесчастный дом. Там пошумнее, у крыльца кобылка наша, лошадки тут же лоснятся, фыркают... Старший писарь Плеханов сидит за столом без сапог и курит цыгарку, длинную, наподобие веретена, из целого писчего листа. Ноги у него прелые, красные, как морковь, с оттопыренными рыхлыми пальцами; торчат они из-под стола, как лягушечьи

лапы с перепонками, и водит он задумчиво по полу кривым и черным ногтем...

Так-с. Товарищ Плеханов — самый старший. Говорит он медленно, оттопыривая небрежно губу и не выпуская цыгарки изо рта... Волосы у него черные, слипшиеся, лицо безволосое, рябое. Все начальство разморила жара; писаря курят и зубоскалят с Сашкой. Мухи в перебитых окошках гудят сонно, по-деревенски, и, батюшки, подумаешь, — и войны-то ведь никакой нету, и не бывало, и не будет... Жужжат мухи совсем как в нашей Нижегородской губернии, под Петров день — мир бесконечный!.. Что же касается аэропланов, то они были утром и собственноручно убили уважаемого нашего ветфельдшера товарища Ярославского.

Вот тебе и крымская бутылка!

Старший писарь, товарищ Плеханов, начинает:

— И есть это у нас два белоснежных арапа... То есть это вы, уважаемый Колчак и к вам еще вдобавок — ушастый этот Фельпос... — Губа его пренебрежительно оттопыривается: — И носит вас, удивляюсь, земля...

Тут старший писарь делает новый росчерк по полу большим волосатым пальцем с расплющенным, грязным ногтем.

— Да, носит...

Скука смертная.

— Сашка! — кричит другой писарь, — Сашшь... милай, не промажь. Разыграй Фельпоса, я тебя за это побрею.

Фельпос этот самый, по фамилии Фельдпост — мужчина черноволосый, из себя плюгавый, ну и, конечно, еврей, то есть мастер часовых дел. Был он у нас техник, — человек очень тихий и, с некоторой стороны, даже умный. Но был слабый на выражения и неподходящий мужчина, с розовыми ушами.

Например, начинают это писаря:

— Сашшь... а, Сашшь!

— Чего?

— Не промажь.

— Угу!

— Кто идет?.. Фель-пос!

— Загибай ему в нос.

И начинает этот Сашка ругать весь быт, и такими стоящими словами, и такую начинает уверенность давать, что наш Фельпос — красней, красней, — а побелеет даже, ссохнется, свянет и говорит:

— Товарищ, несчастный портной, где же в вас человек? Ай-ай-ай... вы несчастный, подлый портной...

А тот все хлещет, забирает на восемнадцатый этаж, по-ярославски с перекладом, на чистой рифме и произношении; ну, сами видите, все ржут, кругом война, можно сказать, убийство, — и следует естественно, логически несознательное отношение. Конечно, этот Колчак — ругатель быта и позор части, но по случаю, что никто лучше его у нас галифе не шил, внимания на нем не останавливали, и даже лица комсостава прислушивались с улыбочкой. А он все кроет, а он все кроет, — Фельпос сквозь землю провалился, — кругом сплошной рык, а у Колчака на роже — ни стыда, ни совести... Только посоловел весь, — и все говорком.

Или начинает он петь: глаза вытаращит, руки закладывает прямо за галифе, — а они нескладные, сальные, даром, что портной, — и сапоги врозь:

У дор-рогой под антиресом
Птичка гнездышко свила.
А другая при-летела,
Два яичка при-несла...
Ярославские девчоночки
Ти-та-та та-та-ра-рам
Рам-рам...

Свистнет, топнет — из-под каблука пыль пустит и чечотку выбьет. И все это, конечно, не к добру. Так оно, положим, и вышло.

Так вот этот Сашка рассказчик был удивительный: как начинает — мы тут вся братва возле него, и, сколько бы ни говорил, с полным вниманием слушать были готовы. Громадный бы из него писатель получился, если бы сознательность! И рассказал он мне про Фельпоса прямо-таки целый роман.

— Сижу я это, — говорит, — раз, делать было нечего, и сыгранули мы в карты. И сорвал я с Тимофея колечко-перстень. А колечко потомственное, бручальное. Говорит он мне: «Бери, что хочешь, а верни» — будто бы ему сердце приказывает... А мне смех. Дурак, говорю, ты, дурак, чистейший дурак, на что тебе жена и кольцо, когда и то и другое потерять и скинуть можно? И даже вполне вероятно. А кольца, говорю, тебе не видать, как своей... И очень обидно стало Тимофею, и мы с ним пошли к комиссару. Конечно, комиссар очень меня обидел, так что с Тимофеем я себя прямо-таки не в силах вести почувствовал. Объясняюсь я с ним громко, по-товарищески. Какой ты есть, говорю, красный разведчик...

Гляжу — подошел к нам Фельпос, тихо так, и стоит. Поднялась во мне вся уверенность да как крикну ему:

— Что это вы, Фельпос, по своей национальной манере суете ваши нахальные уши!

Ну, еще прибавил для украшения, так сказать, некоторое слово. Гляжу, а он побелел сразу, трясется уже и губами шлепает. Вот так штука! И говорит:

— Боже мой... боже мой... Какой вы мерзостный, издевательский портной!.. Да нам с вами умирать вместе придется. Слышите вы, темный товарищ, эдакий...

И заплакал. Плачет и кричит мне:

— Кольцо-то отдайте ему... Я... я... господи!..

И слезы у него текут, как сопли. А мне —хоть бы что. Ну, думаю, и тля же... Еще — господи! Нет вашего преподобного господа бога Исуса Христа, мы на ваших небесах и вдоль и поперек, и сзади и спереди!.. Ну а сам, между прочим, знаю, что насчет господа — это он так, к слову. И стало мне вроде как жалко его.

— Проходите, — кричу, — а то часики ваши немного попорчатся!

И они ушли. А вечером, только мы спать легли, слышу кто-то возле меня будто щерится. Поднялся я, смотрю. Так и есть, он самый — наш преподобный еврей.

— Что вам тут надобно? На каком основании нарушаете вы устав?

А он улыбается и говорит.

— А все-таки кольцо вы отдали, несчастный человек и портной.

Ну, я тут, конечно, весь зашелся даже, и так это, можно сказать, выразился, что все котелки на пол посыпались.

Ушел Фельпос.

Вот — и весь рассказ. Я сказал этому Сашке, что есть он гад всей вселенной. Дурная башка, которой хоть бы что! Только наш дивизион скоро перебросили на самый театр боев. И пошла тут жизнь— бесприютные смертные дороги, солдатские наши звезды и полынь могил наших... Ночи пошли темные, степные, что замучают печалью человека, ни пройти, ни доехать до хутора, лишь курган да тоска-трава... Местность та прямая и ровная, — прямо как яйцо, — видно кругом далеко, до самого моря. — Но роковая местность! Налево должна быть красная тринадцатая армия, направо и впереди

пехота. Стали мы на позицию в глухой степи, в лощинке. И уехал наш командир незамедлительно в штаб.

Стала степь темнеть, туманиться. И удался вечер, какого не запомнить в жизнь. Закатилось солнце, и стало на степи грустно, тихо как по-прощальному... Все наши номера, вся прислуга, орудийные и взводные на местах. Притаились все, стихли, словно смотрели в последний раз. Телефонисты далеко напереди наблюдательный окопали. И чудно мне стало, не пойму — и откудова только они взялись! — ходят тут же Колчак наш и Фельпос.

Сашка ходит, зубоскалит, — ти-ра-ра, та-ра-рам, ярославские напевы, юбки полосатые, башмачки на каблучках... Ходит он по случаю жары босой, и рожа на нем — как арбуз. Сразу видно в чувстве человека — и кричит пронзительно:

— Не сдавать, антилерия! Ну, а я как есть для политической ариентации.

Все смеются, и Фельпос тут же улыбается; чистый такой, торжественный, и даже очки надел. И надо сказать, очки на нем вполне подходящи: специальность имел тонкую, гордый был в своем деле, и даже белая сволочь — генерал — впоследствии состоянием всей вверенной материальной части Красной армии очень восторгался. Приехал Фельпос этот самый на позицию за десять верст, словно кто его подтолкнул: все писаря там остались и завхоз, и казначей, и каптеры наши, а он прибыл и ходит.

Сашка Колчак все песни поет. Проходит он мимо Фельпоса, так гордо очень проходит, и тонко политически говорит:

— Напрасно вы очень сюда пожаловали, товарищ. Мне, как портному, ваших уважаемых штанов жалко...

Так. Приезжает тут наш командир с разведчиками, собирает всех и говорит: «Все спокойно, товарищи, и не волнуйтесь. Только будьте наготове, — на войне, стал-быть, как на войне». Тонкий был человек — из офицеров. Мы, конечно, ждем без всяких волнений.

И подул ветер на степи, дохнуло от самого моря бесприютным дымом нашей жизни потерянной. Накипели в небе белые звезды. Нанесло с моря тучи сырые, заволокло, и смолкло все во всем свете. Застыло, стихло. Только лежали мы, люди, будто закинутые в большую пропасть без возврата... И пропал весь мир в этой пропасти, призакрыло горьким сумраком, затерялись звезды, призасохли травы.

К ночи пошел дождь. Все сильнее и крупнее — и пошло тут хлестать, как из пулемета... Притаилось все, застыли наши люди, и исчезло все во тьме и дождях. Охватило ознобом, — трясется весь свет под повозками, орудиями, ящиками — нет спасения. Бьется дождь, ходит муть по черному небу— и не помню я, как посерело в степи. Стало чуть брезжить.

И к рассвету видел я их — и Сашку, и Фельпоса. Сашке — что? С него вода, как с гуся: рожа сальная, роса не пристанет, язык — сковорода, только пар идет, а вот техник наш, извините, подмочился весь и смок.

И набралась вода под очки его, побелели его уши, промочилась его бедная фуражка. Сидит человек, слипся весь и тихо улыбается.

Видел я их — и запомнил. А запомнил потому, что в пять часов утра, в самый глухой час — чуть затянуло серой мутью — окружили нас преуважаемые господа казаки и растерзали самое что ни есть живое и несчастное наше сердце, из-за отсутствия связи, из-за тринадцатой этой армии.

Дождь и вода. Ничего не видно. Кто идет — наши или ихние. А налетел целый полк, пошла тут катавасия страшная. Комиссар наш, мужчина высокий, бравый, красоты страшной, смертью героя,— вечная память коммунару! — торжественно лег без музыки... Собственноручно двух громадных белых мешков уложил. Были и другие.

Только стихло все, загнали нас в круг, вроде овец, и погнали всю Красную армию, как последнюю стерву. И гнали нас по степи, по самой что ни есть мокрой, и которые были без сапог, то все ноги опустили в кровь свою. И на душе порвались все веревки несчастные, и на сердце было неописуемо.

Дождик стих. Лежит наша дорога прямо к смерти. И вели нас молча, будто ласково, и никто тогда никакого издевательства не принял. Легла дорога наша прямо и безвозвратно. Шли мы по ней, роняя свою жизнь человеческую, все годы свои милые, милое счастье, прямо к смерти, к самому последнему. Пороняли много человеческого.

Оглянулся я назад. А вдали, вдали чуть-чуть поднялся дымок, будто родительский, и почудилось, будто вся жизнь наша в этом дымке уходящем. Заплакал я... Гляжу — рядом идет преподобный Фельпос в очках, вся фуражечка слипла, и даже сапогов у него не тронули. «Эх, думаю, премилый наш, пропали мы, пропали без возврата!»

Подвели нас к хутору, где начальство. Выходит оттуда высокий, черный, на лицо серьезный, интеллигентный и симпатичный. Как гаркнет:

— Выстроить их, мерзавцев!

Передернулся аж весь, шашка по ногам хлестанулась, а ноги жидкие, острые, и на них кокарды из серебра. Ходит возле нас, а в руке книжка... Серый весь, одет чисто, на плечах блестит, — все, как полагается по форме.

Тут совсем уже день разыгрался. Со степи туман подняло. Тучи разогнало, и глянуло солнце красным сиянием.

Стали нас строить, и вытянулась шеренга арестантов; стоят, как доски, унылые, кругом казачье, и в руках наганы. Молчат все и смотрят на высокого.

Выстроили нас, и спрашивает высокий и черный:

— Жиды и коммунисты есть?.. Выходи.

Не шелохнет. Молчат все, молчат, — и стучат сердца, и падает в них последняя жизнь человеческая.

И говорит опять черный:

— Что?! Не выдавать? Благо-родничать? Расстреляю весь фланг. Сволачь!!

А на этом самом фланге — без шапки, белый весь, страшный, осатаневший от ужаса — наш этот Сашка, ругатель быта, Колчак. Глаза, как бельма, сам чугунный, заледенело все в человеке, аж кости хрустят... И нет ему больше ни имени, ни звания, стоит, — как был всегда, — босяк босяком — шпана ярославская, матерщинник и вор, позор части и всей Красной армии. Ну, думаю, выдаст сейчас всех Колчак, окаянный, выдаст, проклятый, и погубит последнюю честь советов. А он, действительно, страшен, как сам господин чорт. Только подумал это я, что-то зашевелилось сзади, и спокойно так выходит из самого строя, мимо нашей жизни и смерти, мимо самых смертельных дул, выходит и идет — в маленькой фуражечке, весь в очках, беспартийный такой — наш преподобный самый Фельпос.

И подходит он, и подносит ручку к козырьку, и говорит вежливо и воспитанно высокому:

— Так и так, являюсь. Есть я единственный коммунист и, можно сказать, жид. Прошу рас-

стрелять. Ну, а эти (и на нас показывает)—призванные они силой. Не виновны.

Оборвалось все мое сердце, так и прыгает, все так и бьется, и хочу крикнуть, а не могу, завертелось в глазах. Стою, как мертвый, гляжу. Ну, и что же случилось? Прямо-таки невероятное! Только Колчак наш не выдал. Поглядел я на него, а нашего Фельпоса уже под руки скручивают, руки выворачивают, и высокий пистолет вынимает; поглядел я, — а он сорвется, как сорвется, да из строя, прямо Фельпосу в ноги. Как бешеный рыдает, весь слезами исходит и кричит прямо не стесняясь:

— Ну, прости!.. Батюшка! Ну, прости!.. Ах, прости...

И целует Фельпосу ноги.

Тут его казаки сапогами по носу, по глазам, по лбу, — кровища из него так и хлещет, а он как встанет, как встанет...

— Братцы!.. братцы! — кричит. — Прости христа ради... как собаку его я... национальность его...

И плачет, плачет...

Да... Застрелили их вместе — и Фельпоса с фуражечкой, и босяка нашего, несравненного Сашку, ругателя быта и всего человечества.

Вот вам и кончился их национальный вопрос.

Москва. VI. 1925

Снежное племя

1

Царила сибирская степь. Зима лежала еще крепко, продрогшая насквозь, под солнцем в низких пустынях, живущих лихорадочными грезами березовых кустарников. Это была передняя дремучей, заросшей тайгами, сопками и камышом страны. Пустыни ее шли с запада на восток, продуваемые насквозь ветрами всех континентов. Пустыни надувались, как паруса под полным ветром. И не было конца редким, еще заметенным дорогам, ночам, завывающим последними буранами, а днями — ветреному, сумасшедшему солнцу, уже гнавшему с юга жаворонков и гусей.

Через степь лежал великий северный птичий путь. Он возникал от теплых вод Индийского океана, где небо так сине и блаженно, что, кажется, ему завидует райское мерцание воды; от Египта через горы и скалистые пропасти китайской провинции Синь-Дцзянь и дальше на Алтай, в ясный первозданный хрусталь, налитый между зеленых гор. Серые птичьи косяки проходят мимо их белых шапок. Горы покрыты бледнолиловыми клубами туч. Со снежных туч вниз прыгает и бьется гремучая студеная вода. Она поит красные сочные тюльпаны, альпийские фиалки, — и тогда пчелы поют над прохладными цветами зноем и летят к пастбищам, в долины, полные меда и скота.

Перелетные птицы безудержны... Они спешат на восток, через снега и поздние льды. Птицы ле-

тят над озером Чан, минуют реки, стремясь к великим водоемам и моховым тундрам севера. Косяки пересекают рельсы, ведущие к желтым водам Японского моря, и птицы с необъятного простора видят крошечные хлопья дыма поездов, уносящих и привозящих Россию. Солнце освещает их длинные серые станицы. Они летят высоко против ветра. За ними бесконечны ночи, бездонны морские пути, за ними остаются бури и метели, горы и степь. Никто не знает, зачем покинули они страны, где на деревах зеленые плоды подвешены, как бомбы, где змеи висят и искушают белые цветы, где солнце и море щедры и неустанны.

Закон жизни дикого летного племени не разгадан. Инстинкт, ведущий их ежегодно к северу, никем не понят. Что заставляет их с верностью компаса находить свои старые, прошлые гнездовья,— никому неизвестно. Птицы летят с той же силой и верностью, с какой земля летит вокруг солнца. И люди, стоящие на этой земле тысячи, а быть может, сотни тысяч лет, провожают их взглядами, полными счастливой зависти.

На захолустной станции, чорт знает где, у почтового поезда, вставшего перед оштукатуренным бараком с круглыми казенными окнами, с колоколом и ящиком для мусора, их заметит какой-либо неизвестный гражданин, поднимет голову и остановится.

— Гуси летят! — скажет он, перебегая пути у длинного, как Сибирская дорога, красного товарного состава.

И позабудет почтовый поезд, чайник; высоко подняв голову и прикрываясь рукой от солнца:

— Высоко! — авторитетно, в воздух, ни к кому, подтвердит парень, большой, как оглобля, неизвестно для чего попадающийся на всех дальних

станциях. — Стараются, — скажет он, — значит, летят! — и он безудержно расплывется своему важному открытию.

Но тут, как часто бывает это с российскими людьми, словно удивится собственному голосу, сконфуженно смолкнет и отойдет, стеснительно надвинув шапку на лоб.

Посмотрит на гусей и проводник вагона, в котором едет гражданин с чайником. Проводник поднимет к небу желчное, жесткое лицо с жестяными глазами, такими чужими и равнодушными, что, кажется, в них навсегда вошли бесконечные станции, разъезды, хлопанье дверями, пыльные лавки и безликость тысяч пассажиров, втаскивавших в вагон при свете свечных огарков свои корзины и мешки, спавших, куривших, чтобы бесследно пропасть и никогда не вернуться. В глазах проводника будет то же выражение, с каким он обычно говорит:

— Граж-дане! Просил вас не сорить, в самом деле... Метешь, метешь... никакого в вас понимания... Тоже пассажиры... Чорт бы вас всех, — и тут начнется бормотанье, невнятное, как дребезг поезда.

Птицы уйдут в бездонность. Потом будут звонки, хриплый рев паровоза, словно из-под земли, — и через перрон, неловко припрыгивая, кинется военный с голым, подвитым редкими белыми волосами лбом, без ремня, в чувяках и синих галифе, заправленных в полосатые носки.

Поезд будет итти под нежным небом, бледной весной к востоку. А гуси полетят на север, унося свой путь, который так неизвестен, что, кажется, лежит от самой колыбели человечества.

2

В этот день, когда над степной станцией прошла вешняя птица, южнее, в восьмидесяти километрах от магистрали, соединяющей Европу с Великим океаном, находился человек, в ведении которого был весь перелетный путь от центральной Азии к пернатым зимовьям Индии, Африки и Южного Каспия. Мы имеем в виду орнитолога Николая Александровича. Орнитология — наука и как всякая наука точна и чужда каким-либо обобщениям, основанным на личных переживаниях. Это — чистая наука, наука о пернатой жизни, знающая только факты, только наблюдающая, регистрирующая и устанавливающая связь явлений в своей области. Орнитология — еще молодая наука, она не имеет древности и еще насквозь фотографична. И орнитолог Николай Александрович, долгие годы отдавший классификации, неукоснимым датам, латинской порядочности, придал своему мозгу и сердцу точность чувствительнейшего фотографического объектива. Он был точен и совершенно бескорыстен. Он был предан работе целиком и отдавал ей все внимание, которое требовало полной и сварливой верности. В его сознании, чувствах и поступках никогда не было никаких отступлений. Поэтому он презирал всякое искусство и не считался с его магической силой, претворяющей всякое знание в героическую биографию вселенной. В его птицах не было идеи мирового совершенства. Птицы летели от даты к дате, сами по себе, залетая лишь на страницы орнитологических книг, вне истории и политики, знакомые лишь музеям и страницам сухих научных журналов. Поэтому Николай Александрович был аполитичен, был человеком post factum и числился незаменимым. Но револю-

ция, постигавшая жизнь во всей связи ее явлений и проникавшая через ее суровый хаос путями искусства борьбы, никогда бы не занесла его имя в списки членов хотя бы захолустного исполкома.

Гуси, подчиненные орнитологу, летели от царственной лазури Индии. Это шли серые гуси, имеющие мощные остроугольные крылья, развивавшие полет, равный скорости стрелы тунгусского лука. Клювы их, выточенные из бледного рога, и перепончатые лапы с крепкими когтями розовели, точно в них вращалась нежная, разбавленная водою кровь. Индийский магараджа, отдавший старость созерцанию мира, окольцевал десятки этих птиц. Магараджа был богат и знатен. Он принадлежал к той части мира, которая огорожена от любого разговора в вагоне сибирского почтового поезда карабинами английского империализма, имеющими дьявольскую начальную скорость пули.

Страна магараджи лежала далеко за снежными тучами южных гор.

На серой заре, когда косяк миновал степные озера, вышел к тусклым водяным равнинам Оби и повернул на восток, птицы снизились к займищу и летели на камыш, неизменно выходя от мыса на мыс. Камыш стлался мертво. Поднималось солнце. Косяк шел, коротко перебрасывая осторожное: ка-га-гак... ка-га-гак, изредка трубя медными рассветными трубами. Ветер дул с поморья. И русский охотник на этой дикой заре убил из камышей на мысе глухого озера громадную птицу, за версту услышав крики, летевшие с Индии. На гусе он нашел металлическое кольцо с надписью неведомого содержания.

Орнитолог Николай Александрович получил его через две недели и сам продиктовал машинистке заметку в газету краевого значения. Заметка была

торжеством точной чистой науки. Индия соединилась с тундрами. Гуси оказались вне социальных законов человеческой истории.

Однако точный факт оказался условным.

— Никаких магараджей, — сказал по этому поводу заместитель редактора краевой газеты, сгустив презрительные морщины на лбу, унаследованные им от Гижа. — Краевой орган партии, товарищ, не может заниматься агитацией бесящейся от жиру индийской аристократии.

— Позвольте, — начал орнитолог Николай Александрович, и его глаза, как всегда в минуты волнения, стали совиными, — мировая наука не знает примеров...

— Ничего не могу сделать, товарищ, — отчеканивая последнее слово, перебил его заместитель.— Мы оцениваем каждый факт информации политически.

Орнитолог понял, что в кабинете, заваленном кипами газет, есть своя сфера точных понятий, не терпящая посторонних вмешательств. Он чуждался лирических обобщений и уважал всякую специализацию. Случай с окольцеванием экземпляра Anser anser взволновал его отнюдь не в художественном порядке. Он с достоинством надел зеленую помятую шляпу, чтобы вернуться к обычным занятиям, идущим неукоснительно и вопреки всем мировым потрясениям. И кольцо магараджи, знавшее воды Индии, сухо замкнулось в полированном ящике с этикеткой, датой и фамилией русского охотника, безынтересного для событий орнитологической науки.

В этот день в степи дул юго-западный ветер. Орнитолог находился в собственных владениях и объезжал их, направляясь к озеру Тандов, лежавшему западнее. Весна тронулась уже дружно и весело.

Степь облезала. Синевато-свинцовые озера воды стояли у самой дороги. Воздух по буграм дрожал прозрачными волокнами, как над трубой паровоза. Всюду, где только попадались обтаявшие бурые гривы жнивья, серели тяжелые, сытые табуны гусей, поднимавших длинные змеиные шеи. И судьба свела орнитолога Николая Александровича с попутчиками, о которых можно сказать, что разнообразные существуют граждане на свете. Не считая ямщика, их было трое.

Дорога лезла тяжело и скупо, и лошади тащили телегу, резавшую серый снег и черную вязкую землю, лениво и безучастно. Ехали вторые сутки. Сначала дорога стлалась по столбам, гудевшим сыро и бесприютно, потом она свернула в низкие березовые перелески, и столбы зашагали куда-то в сторону однообразной шеренгой, напоминающей редкую солдатскую цепь. До станции и города, стоявшего за горизонтом, неизвестно где, считали столько верст, что никому не хотелось и спрашивать. Да и не верилось ямщику, уверявшему каждый раз, что от переезда до города подать рукой... И в переезд никто из людей, сидевших в телеге, уже не верил.

Веселее всех жил орнитолог. Сергей Иванович, ехавший по не известной никому командировке и числившийся экономистом, впал в задумчивость. Он был длинен, худ, большеглаз, из тех людей, о которых обычно говорят: «Ах, это тот, некрасивый... а впрочем, он симпатичный!» Ему очень хотелось курить, но было лень шевелить закоченевшее тело, вынимать табак и закуривать на ветру... Он вжился всем существом в тряску и качание телеги и чувствовал, как всем телом уходит в этот случайный мир нелепого дорожного ритма.

Мир впереди закрывался широкой спиной ор-

нитолога. Из-под шапки выбивались его кудри — темные завитки, словно посыпанные пеплом. На нем плотно сидела смешная желтая шапка с ушами, придававшая голове что-то бабье, очень неопровержимое. Орнитолог напомнил Сергею Ивановичу некоего очкастого, поднимавшегося из детства, из приложений к «Вокруг света», где он читал романы с рисунками художника Риу. Этот Риу особенно запомнился. Орнитолог совел круглыми очками, зарастал бакенбардами и чудаковато лез в дядюшку, который должен полететь на луну.

Выехали на обсохшее серое поле. Лошади взяли сразу бойко, и телега пошла, мягко громыхая, и всем сразу стало легче и радостнее. Сергей Иванович освободил тело от привычной, ставшей даже сладкой и необходимой, боли и приподнялся. Впереди бежала дорога. Замшевый, чистый затылок ямщика с глубокими морщинами трясся как всегда свежо, бодро и неизменно. Орнитолог прыгал своей шапкой, широкой спиной, очками. Мир существовал как вечная объективность.

— А где же агент наш... Захаров? — спохватился Сергей Иванович, не найдя сбоку аккуратных плеч и лица со знакомыми колючими усами. С агентом Сибторга они познакомились дня три, но никто не знал его имени и отчества. У этого человека не изменялись доброе лицо и скромные глаза, от которых и орнитологу, и Сергею Ивановичу почему-то становилось неловко. Но ямщик сразу стал называть его «Захаровым» и на «ты». А, как известно, ямщики и официанты беспощадно устанавливают право человека на титул и положение. И все, точно по уговору, стали называть агента просто Захаровым, и это почему-то казалось законным. Никто не удивлялся, когда ямщик спрыгивал наземь, хватал лошадей под уздцы и с властностью, которая в

таких случаях показывает, что и он исполняет в мире важную функцию, кричал:

— Тпрру... раклятая... Язви тебя в горло! Захаров, помоги супонь подтянуть... Тпрру... дьяволы!

Захаров ловко и умело подтягивал супонь; они долго и солидно возились у лошадей, и, когда ямщик, не глядя на орнитолога, крепко усаживался и дергал лошадей, опять-таки последним усаживался Захаров, уже на ходу, как-то особенно аккуратно. И относился он к своим путникам, как относятся к детям, которым не может быть никакого дела до всех забот и лошадей на этом трудном, проклятом пути...

На этот раз удобной, приветливой фигуры агента и его нависших колючих усов не было.

— Народы! — сразу тревожно крикнул орнитолог. — В самом деле, где же Захаров?

— Да вон он, — обернулся ямщик.

На его молодом, краснощеком лице с заволоченными красивыми глазами застыли особая извозная сытость и равнодушие. Он ухмыльнулся:

— Вон бежит! Как заяц. Н-но... заскучали! — Он замахнулся кнутовищем. — Коням тут было очень чижало, он и соскочил...

— Да ты, брат, подожди... Надо же подождать человека! Что ты, в самом деле...

Сергей Иванович пытался еще что-то сказать, но телегу затрясло и понесло по ухабистой сухой колее. Он схватился обеими руками за корзину.

— Догонит. А тут дорога хорошая...

Захаров в самом деле догнал. Он бежал, неловко улыбаясь, тяжело дыша, похожий на доброго усатого жука. И оттого, что он ловко прыгнул и по-обычному уселся с краю телеги, на своем неудобном месте, и орнитологу, и Сергею Ивановичу стало увереннее. В агенте выступала та обязательность

и верность, которые совершенно необходимы эгоистическим людям в дороге для душевного спокойствия.

Ехали молча, каждый погруженный в себя. Ветер гнал степь и снега. Откуда-то сбоку снова зашагали столбы, и холодно запела проволока. Солнце сквозилось пустыннее, недосягаемее. В спину дуло уже зябким талым закатом, мороженой полынью. На редких озерах, лежащих зеленоватыми привидениями, мотались в воздухе чибисы. Гусиные серые кресты и стрелки в небе попадались реже. Степь лежала холодной в пустынном раздумьи неба и пространств. Порывы ветра болтались, как невольные, безучастные мысли и воспоминания.

И каждый думал так, как думает человек в дороге, случайно, наудачу. Орнитолог привык к дорогам и думал систематично. В данный момент его занимали мысли о распространении и быте розового снегиря. Кроме всего прочего, он беспокоился за сохранность фотоаппарата с цейсовским телеобъективом огромной ценности.

Мир Сергея Ивановича был пестр, добр, неясен и наполнен цифрами. Он считался экономистом: так как у нас все люди, не имеющие специальных знаний, причисляют себя именно к этой области. Революция гудела и звала в проводах, не поспевающих за шагом телеграфных столбов. Столбы шли на ходулях. Короткие значки азбуки Морзе, казалось, не успевали бежать за их гигантскими шагами, уносившими даль. За ними неслись планы, цифры, молнии распоряжений, судьбы. И они боролись с тупым безразличием пространств.

На равнинах полей шла борьба со стихией, решались судьбы двух миров. Сергей Иванович со своей судьбой был включен в систему этой борьбы. Генеральная линия пересекала степь вдоль и

поперек. План должен был решить пути человечества. Зеленого восстания колосьев ждала земля, и колосья должны были стать историей. Так гудели и звали провода.

Экономист планировал, подсчитывал, проверял. А Сергею Ивановичу каждую ночь снился сон: девушка с выражением свежей дождевой ветки. Сон отдавал старинным и милым. Ветка пахла дождиком, а дождик так, как пахнет Волга весной под Симбирском. Экономист жил в командировке, в городке, где председательствовали хлеб и масло. Городок существовал тускло, где-то и как-то, и поезда проходили возле него, забирая новый паровоз и не запоминая его так, как никогда не запоминают бабу в сапогах с зеленой палкой, мигнувшую где-то на переезде у насыпи. Из городка шла поддержка мировой истории. И экономист Сергей Иванович, прожив в нем полгода, только случайно заметил, что каждый день проходил мимо дома с надписью «Электро-парикмахерская «Путь к коллективизации» Добровольного Пожарного Общества».

Еще запомнил он, так как числился беспартийным: на вечеринку у сослуживца, куда он был приглашен и где его все почему-то называли профессором, в самый разгар ужина пришли гости — молодые люди в серых рубашках и вязаных галстуках. Лиц их экономист не запомнил — они походили на выгоревшие фотографические карточки. Входя, они повторяли, одинаково отряхивая волосы:

— Афиногенов... член партии...

— Советкин... кандидат партии...

— Долговых... член партии...

Молодые люди сидели молча, солидно и пили водку, как лошади. К экономисту они отнеслись высокомерно. А он чувствовал свое превосходство

и говорил с хозяевами плавно и кругло. На вечеринке, в людях, он был только один раз.

За работой он ничего не заметил и не запомнил из своей провинциальной жизни. Город жил неведомо, «сам по себе», и неизвестно, кто выполнял планы, программы, инструкции. Казалось, и не было вовсе людей. Но жизнь шла,—и какая жизнь!— вся степь ворочалась вековыми пластами. Воля рельс и проводов правила железно и беспощадно. Цифры и планы были грандиозны и зажимали необозримость пространств. Экономисту казалось, что только они сами правили поездами, пересекали вьюги и снега и сами неукоснимо переворачивали, командовали, направляли. Он верил только в централизацию и в магическую, ясную и неопровержимую силу телеграфного аппарата. Все остальное слагалось абстракцией. «Все это» мерещилось ему в неопределенных лицах, над которыми было сознание своего превосходства. Лица людей, подчиненных системе, которую он знал и силу которой чувствовал, сливались в туман, в незначительное, как серые рубашки и полосатые галстуки пожимавших ему руки и отряхивавших волосы:

— Афиногенов... член партии...

И кто же, кто творил жизнь, проходящую вокруг?

За экономистом стоял неинтересный, добродушный Сергей Иванович. В нем замешалась доброта, обыкновенная наша бесхарактерная доброта, прошлая бедность, огромная Москва, которую он, в сущности, не знал и не видел, театры, в которых он не бывал, хотя и говорил о них восторженно; было еще что-то очень далекое, почти чужое, горькое до слез: мать в приволжской губернии, домики в соломе и пятнадцать рублей, посылаемые ежемесячно. Сергею Ивановичу снился иногда глупый сон, блажь: ветки, туман на Волге, платье, не существовавшее

на свете. На его столе стояла карточка в рамке некрасивой женщины с упрямым, длинным лицом. Карточка появилась случайно: ее подарила сослуживица. Но на ней еще не стерлась надпись, старая, как мир: «С. И. — с верой, что существует чистая дружба». Дружбы, собственно говоря, никакой не было, но карточка хранилась. Ну какой же мужчина, у которого нет женской карточки! Кроме того, Сергей Иванович наблюдал за людьми и ждал их в жизни безотчетно. Мысли, которые он произносил о людях, в большинстве случаев были случайными или просто удобными для работы. Чаще всего он произносил фразу, слышанную им в вагоне от лукавого человека с трубкой, относившегося ко всему с веселой иронией. Фамилия его была странная, — нечто вроде Гриба, и говорил он подсмеиваясь и добродушно:

— Нам нужна воля, судари, — и никаких гвоздей! Люди должны выполнять: командует класс и наука. Человек — средство. Абстракция! Ради того, чтобы человек навсегда перестал быть абстракцией. Это не так плохо! — он затягивался трубкой, и в ней что-то хлюпало и запевало. Он смеялся и, лукаво улыбаясь, хлопал себя по колену. — Нужны быки, энергия в тысячу лошадиных сил, здоровье, послушные здоровые мускулы. Да-с! Вы говорите: люди, мир, осмысленность, счастье... Есть! Идея прежде всего — люди приложатся! А после будет ренессанс, краски, греки, чорт возьми! Я ради греков только и работаю. Как вы это все находите? Это не так плохо, уверяю вас, — продолжал он, — и в этом есть краски, красота, хотя сейчас, откровенно, — ну ее к дьяволу! — здоровый может найти красоту вот в дыме этой трубки. Нужна Спарта, чорт возьми! Спарта в идее, в машине... Все остальное будет, как пятьдесят две книжки бесплатных

приложений к «Ниве». А насчет греков — они будут. Я работаю только на них. Я деклассирован по существу, инстинктов прямой заинтересованности во всей этой борьбе у меня нет. Мелкая буржуазия. Поэтому мне нужна идея, Венера, солнце, чтобы полетели к чорту галстуки. Это — установка. Теперь — только воля. Кому нужны цветочки — в сторону! А не хочешь: заставим пулеметами, погоним, выгоним из стойла, заставим пахать и копать... Железо, судари мои, трактор, трансмиссия. Ради того, чтобы через десять, двадцать, тридцать лет из тартарары времен слушать музыкальный дождь, кататься на колеснице по берегу Эллады... Тогда мы покажем, что такое жизнь! А сейчас я верчу кино, чорт возьми! Верчу, наяриваю — и никаких гвоздей!

Дым трубки синел, пах сладко скитальчеством, неведомыми странами.

Человек хохотал и лукаво щурился всем телом. На голове его не жило ни единого волоса. Голова сверкала, как кость, борода вороненой сини казалась подклеенной. Веселость человека играла гладью заструенной, сияющей летом реки. Он хохотал, как буйвол, и сошел в степь на станции, носившей странное название — Жаба. Сергей Иванович знал, что у него было два романа в поезде. Всю дорогу дальше дама с капризными, измученными глазами, соседка по купе, смотрела не отрываясь в окно и грустно улыбалась.

Человек с трубкой на прощание дернул его за галстук, проводника оглушительно хлопнул по плечу, исчез на перроне, и без него всем в вагоне стало тихо и скучно. А Сергей Иванович после много месяцев повторял его слова:

— Идея — все, люди приложатся.

Но дальше у него получалось вяло, неинтересно,

а о Спарте и музыкальном дожде он просто забыл.

На станции Жаба осталось неведомое буйство жизни. Люди вспоминали его, неловко, но приятно улыбаясь. Так провинциалы смотрят на заезжего знаменитого скульптора — с почтительностью и молчанием, соглашаясь со всем и не соглашаясь лишь с одним: может же заниматься всю жизнь такими пустяками человек!

Сейчас в степи, не имеющей ничего общего с эллинами, из Сергея Ивановича вытрясало экономиста.

Он старел и мерз на телеге. Она качалась, сипела, чавкала в грязи, медленно опускаясь в долину. Агент Захаров, неизвестный в мире, просто смотрел вперед. Рыжеватые, прокуренные усы его были обыденны, — и о чем думал он, не знали ни Сергей Иванович, ни орнитолог, ни ямщик, душевная жизнь которого, как полагается, выражалась в ругани. Ибо мысли ямщиков никем не исследованы, а что они люди, почти никому не приходит в голову. Встречных людей не попадалось, степь безлюдствовала, и лишь раз за всю дорогу повстречался тарантас. Там завалились двое: пьяный мужик без картуза, закинувший голову, и другой, махавший длинной хворостиной с недоуменной веселостью. Он глядел рыжим и отчаянным.

— Дорога... мать ее в душу... — крикнул он, не глядя на встречных. — Ах, твою мать... да пропади она в доску...

Он заорал дико, грозно, нахлестывая лошадей все сильнее и сильнее. Тарантас поровнялся, его мотало из стороны в сторону, голова пьяного открывала и захлопывала челюсти. Хворостина неистово мелькала в воздухе.

— Да... расхристи ее... дья-волы!! — ответил ямщик и, словно вспомнив свое назначение, начал

хлестать коней, приговаривая: — Дьяволы! Дьяволы!

Тарантас прошел мимо. Сергей Иванович повернул к нему голову совсем по-старчески; агент просто; орнитолог не пошевелил спины. И только ямщик долго ругался и хлестал лошадей, пока не затихли воспоминания встречи и тарантас не смыло грязно-лиловыми отеками перелеска. Так ехали, то поднимаясь на подсушенные колеи широких холмов, то увязая в ледяные пологие озера, налитые тусклой, шипящей мутью студеной весны. Степи не было конца. И не было конца этому воздуху, и пространствам, уже посеревшим и затянувшимся у земли. Столбы совсем повечерели и обездомели.

Когда закуривали, орнитолог слезал и шагал в стороне прямо по снегу: он не выносил табачного дыма и курильщиков. Иногда он останавливался, снимал фляжку и пил, держа ее высоко на весу, запрокинув трясущуюся бородатую голову. Напившись, он сосредоточенно навешивал фляжку на ремень, мокрая борода его салилась, красные губы сглянцовели, лицо пучилось. Сергею Ивановичу становилось смешно: орнитолог был до нелепости осторожен и пунктуален в своих привычках и вместе безразличен и к собственной, и чужой жизни; все человеческое походило в нем на холодный, клеенчатый диван губернского прокуренного присутствия: никто никогда не собирался садиться и отдыхать на этом диване, — так он был холоден, замкнут, неудобен; и все же диван существовал диваном, с широкой спинкой, пружинами и блестел клеенкой, отдающей больницей.

Вечерело. До озера оставались пустяки, там были рыбачьи летние избушки. Рассчитывали заночевать.

В сумерки степной дорогой и коням, и людям думается о доме, о задушевной чистоте родного

круга; случайные дорожные встречи поэтому часто зовут к откровенности. Да и вечера на степи, даже в непогоду, студеной весной, полны домашних, зябких потемок. Дом в мире везде. Везде не дремлет жизнь, и звери, и птицы, и нищие кусты живут семьями. Даже звезды, и те, кажется, внимательно наклонены друг к другу, словно за чайным столом, под мерцающей лампой мира.

— Ты, Захаров, небось, как приедешь, так прямо к старухе! — захохотал вдруг ямщик, оборачиваясь и фамильярно откидываясь на локоть. — Небось, притомилась! — Он задумался и помолчал. — Я недавно здесь до кольхоза одну дамочку возил, у ей муж рабочий из Ленинграда, товарищ Дубровский. Такая веселая. Только нашему брату не приходится воспользоваться. Которые в солдатах были, те рассказывают — поблаженствовали... а мы что — ездий, ездий, как окаянные.

Все молчали. Орнитолог глядел непроницаемо.

— А ее до мужа здоровенный хлюст провожал. Чистый зверь. Но ничего, человек внимательный. Только через кажные полверсты все за нуждой слезал. А дамочка смеется. «Ты, — говорит он мне,— еще молодой, ничего не понимаешь. У меня этих гриппов штук четырнадцать было. Как лапша, говорит, они из машинки лезли. Все в стакан, говорит, смотрю, а там ложка стоит... И теперь у меня этот самый гриппер»... Такой чудной был человек! Но одет ничего, чисто...

Он ударил лошадей. Вздохнул.

— «Ты, говорит, молодой еще, все, говорит, еще узнаешь». А чего я узнаю цельные дни в разъезде? И кровь у меня мороженая. В наших местах проживешь — и ничего не увидишь...

— А ты вот уши распускай, — перебил его агент. — «Ничего не узнаешь»! Разве это человек

должон узнавать? Надо к жизни свое пристрастие иметь... А товарища Дубровского я знаю: вполне сознательный рабочий.

— Сознательный, это верно, — согласился ямщик. — Чего говорить. Из центру. Ну и встречали их, товарищ Захаров, — оживился он, переходя почему-то на «вы», — как они приехали на станцию, дилегация была, музыка. Встретили их с епетитом. И што это думают в центре всетки о наших местах?

— А ты что думал? «Из центру, из центру»! Ты все на центр сваливать. Видите, Сергей Иванович, — обратился вдруг агент к экономисту, — у них в голове только один центр. Из-за маковок своей колокольни не видят.

Он засмеялся своим потаенным мыслям:

— Москву-матушку нужно с маслом есть. Ха-ха. А где масло ты, дорогой товарищ, видишь?

— С этим мы вполне согласны, — поддакнул ямщик. — Только масла-то маловато!

— Хватит. Кашу не испортим. Ну ты, Ваня, поторапливай... Масло у нас под кажным кустом ходит. Глаза только нужно иметь.

— С этим мы согласны, — согласился опять ямщик.

Он бойко приподнялся, ухарски гикнул, заорал, но только для виду, чтобы снова застыть в тупую, серую брезентовую спину.

Однако озеро намечалось. Над снегами ровно зажелтели камыши, перелесок плешивел, разбредался, вдали забрезжили темные копны соломы и редких крыш. Они сливались с землей и снегом. Лошади пошли бойко, телега, шипя, резала целину снега. Ехали напрямик степью. Вечер висел слюдяным, закрапали первые ледяные звезды.

Орнитолог вытащил бинокль, стал походить на капитана. Его фигура темнела предводительством.

— Да тут живут! — вдруг закричал он беспомощно. — Кругом народ. Сплошной бульвар!.. Да стой же ты, стой! — злобно, совсем по-детски накинулся он на ямщика. — Стой!

Лошади стали... Орнитолог водил биноклем, жалобно стонал.

— Пропало озеро! — беспомощно опустив руки, обратился он к Сергею Ивановичу. — Места-то какие были. Тут мы станцию хотели учредить. Совершенно ужасно, господа... И, наверное, ваш колхоз, — застонал он страдальчески, — ваш, ваш... вы это все планируете... Ну вот, и напланировали. Полюбуйтесь. Бульвар, бульвар, окурки, сплошной бульвар! Любуйтесь, любуйтесь! Ради бога, любуйтесь...

Он темнел лицом, бинокль его прыгал с бородой.

— Верно, что бульвар, — отчаянно-весело и радостно крикнул ямщик. Он стоял на телеге во весь рост и выражал собою восторг. — Кольхоз тут, беспременно. Народ рази таки места оставит? Гнать, что ли? Тут с полверсты осталось...

Тут он осекся, увидев трясущееся, темное от негодования лицо орнитолога. В очках оно круглилось, совело, превращалось в мировую науку. Всем стало неловко.

— Гнать! Ему только гнать! — Ученый всплескивал руками, ходил по снегу, обращаясь то к агенту, то к Сергею Ивановичу: — Ува-жа-емый, да вы поймите, что это беспримерное отношение... Гнать? Конечно! Конечно! Но куда — на какой-то базар, в деревню! — Он стонал и хватался за голову. — Ну что же, планируйте, планируйте... Но ведь здесь мы наблюдали редчайшие виды!.. Мы смотрели отсюда весь мир. Что же это такое, я вас спрашиваю?.. Го-спода, что же это такое?..

Он обратился снова к агенту. Тот смотрел просто, и его нельзя было понять. Сергею Ивановичу пока-

залось, что в его рыжеватых усах нависала усмешка. Но агент молчал. Он подошел к лошадям, поправил сбрую, вернулся и аккуратно подвернул тулуп, служивший сидением.

— Поедем, — коротко бросил он ямщику. — Садитесь, Николай Александрович. Приедете. Посмотрите. Человек вашей птице, я полагаю, не помешает...

— Не по-мешает? — орнитолог негодующе выпрямился, очки его остановились; он махнул рукой и, сгорбившись, уселся на телегу. — Едемте, едемте, — замахал он на Сергея Ивановича, пытавшегося сказать ему что-то по поводу планирования.— Все равно. Едемте.

— Собственно говоря... — начал было Сергей Иванович и замолчал.

Телегу переваливало набок, и лошади входили уже в сплошную воду, хрустящую внизу мерзлым стеклом. Камыши стояли под бледной зарей равнодушным морем желтого ветра. За ними лежали пустыни покоя, цедившие зеленые чаши умирающего льда. Лед смотрел, как глаза древнего ящера, караулившего время из темной пещеры веков. И заря дула и замерзала над ним, розовая от гнева.

3

Здесь пригрелась человеческая жизнь. Пахло дымом, наносило голоса, стук топора. Жилье лежало, зарывшись в сугробы и обледеневший конский навоз. Сугробы равняли низкие дерновые крыши. Ветер шевелил кучи соломы, поднимал шерсть круглой пепельной собаки, лежавшей прямо у трубы, и уходил на восток. Отовсюду шелестел и шипел камыш. Он шипел по-гусиному. В ломких звонах и шелестах собрались все звуки, которые

он слышал неизвестно сколько веков. Камыш гоготал, трубил, свистел, заунывно и неуловимо.

На озере заночевали лебеди. Солнце застывало и покидало блеск слюдяных затонов. За камышом, по снегу, рыжая, как октябрьский кленовый лист, горела и, подняв острую морду, слушала лисица... Она ловила мышей и потухала в серой золе снегов; ее было видно за версту. Сибирский тетерев снялся с тонкой березки и низко полетел по ветру...

Вечер, пустынная старая земля! Все жили вместе: люди, птицы, звери и звезды. И каждый боролся и украшал свою жизнь.

На снегу, закинутые в голой степи, стояли машины: жнейки, веялки, плуги, выкрашенные в голубую и зеленую краску. Это воинствовала генеральная линия, пересекавшая континент с запада на восток. Машины были мертвы, как природа, обманчиво равнодушны и недвижны. В их железе, дереве и колесах жили те же мечты движения и совершенства. Они включались в мир, в солнце, в лисицу, в тетерева, пролетевшего к ночи, высшим сочетанием закономерности и отбора.

Камыш ждал солнца и нарождался мириадами: это был — хаос; сильный затемнял слабого; птицы и травы поднимались миллионами и погибали; люди жили тысячами и десятками, но были известны единицами. Они были так же безвестны в тысячах, как и камыш. Генеральная линия меняла землю, слагала десятки и тысячи в миллионы, соединяла их, уничтожала с жестокостью природы все стоявшее и мешавшее на пути. Она боролась с хаосом и безвестностью жизни. Во имя миллионов люди соединялись в миллионы, чтобы в них стать единицами. Люди не хотели жить и пропадать, как камыш. Сильный должен был поднимать слабого, слабые превращаться в сильного, — и те и дру-

гие вставать зеленым изобилием. Люди хотели цвести, отцветать и падать в землю, как невиданные цветы, политые, подрезанные, выращенные миром. Разум природы подчинял природу. Законы отбора меняли отбор. Системы чисел переворачивали системы единиц. Наука становилась красочнее искусства, а искусство умнее науки. Машины, стоявшие на снегу, должны были хоронить мир, создавший их своим опытом. И лисица, горевшая солнцем, на берегу ледяной пустыни была прекрасна, как мир, и была включена в заготовительный план Сибторга.

Кто же творил и исполнял эту удивительную жизнь?

Здесь легла безвестная человеческая история.

Существовала ли в самом деле на свете эта низкая, полутемная изба, зарытая в землю, с огромной печью, бледными окошками и грубыми круглыми бревнами, нависавшими над ее тусклой, загаженной жизнью? Когда Сергей Иванович с орнитологом спустились в черную яму со скользкими, покатыми ступенями и вошли в сени, заваленные дровами и сбруей, они еле нащупали дверь. Пришлось сгибаться, чтобы перелезть через порог. Избы не существовало в человеческом мире. Кислые, зловонные потемки мутно кружились в какой-то преисподней запахов, которых так стыдится и сторонится человек.

В избе, жарко треща, парила железная печка. Под светом копеечной лампы углы, лавки и кровати, заваленные тряпьем, шевелились и ползали... Казалось, все разлагалось здесь, прело и сладко чесалось в истоме гниения.

Экономист Сергей Иванович сгинул в этом тумане. Люди вошли и недоуменно застыли. Очки орнитолога перестали видеть. Он глядел кругло, голова его тряслась. Вся его фигура выражала оскорбленность.

— Ну, здравствуйте! Чуваши, что ли? — сказал Сергей Иванович, скидывая с плеч вещевой мешок.— Будем знакомы, — и огляделся. — М-да... — промолвил он неопределенно: — действительно... Ну, здравствуйте!

— Здаствуй, — ответили ему из-за стола.

Отовсюду на вошедших смотрели глаза. Изба завалилась людьми. У стола, казавшегося просаленным насквозь, ужинали. Народ прижился всюду: полуголые дети лежали и сидели под самым потолком, на каких-то досках, пристроенных неведомо как. Худые, плоские девки тянулись у печки. Желтолицая баба в черном покойницком сарафане, с нахмуренными бровями и огромной грудью, свисавшей к самому животу, наливала в чашку зеленое сусло, при виде которого у Сергея Ивановича подступила тошнота. Он обратил внимание на глаза: народ наполовину щурился; женщины надвигали платки — их нельзя было разглядеть. Лица были желты, сплюснуты, бугристы, как кулаки.

— Тут трахома, Николай Александрович, — сказал он орнитологу шопотом. — Попали, нечего сказать. Но à la guerre, comme à la guerre. Подождем Захарова.

Агент распрягал с кучером лошадей. Без него трудно было начать разговор. Сергей Иванович не знал, как и о чем, а экономист в нем скрылся неведомо куда. Орнитолог существовал вообще, вне человеческой истории.

От железки, раскаленной докрасна, полыхал невыносимый жар. Надо было раздеваться. Было неловко показать брезгливость. Сергей Иванович скинул куртку, бросил ее на кучу тряпья, наваленного по стенам.

— Жарко у вас, — начал он, подходя к столу.— И народом вы, слава богу, не обижены... Ух!

— У нас жалко, очинь жалко, — ответил ему человек в шапке, которую никогда не снимал. Один глаз у него высох, другой, черненький, смотрел узко и неподвижно. На губе у него слюнявились тощие, китайские усики, и Сергей Иванович сразу подумал: «Для чего он бреется: какой смысл бриться человеку, изуродованному, лишенному всякой надежды на красоту?»

— У нас жалко очинь, — продолжал человек, домовито, по-хозяйски поднимаясь из-за стола.— У нас человек рабоций... мы все тут вместе, один национальный коллектив...

— Мы рабоций человек, — промолвил кто-то из толпы, набравшейся в избу неведомо откуда.

— Рабоций мы все человек, — повторил парень с запекшимися губами и знойным черным чубом.— Мы все — как один! Рабоций...

— Они плохо понимают по-русски, — снисходительно заговорил черненький, одноглазый, — а старики ничего не говорят. Председатель хоросо у нас понимает. Только он в городе: как у нас национальный кольхоз... У нас народ дружный, не хотят, чтобы поотдельно. У нас четырнадцать семейств, девяносто шесть едоков... Все приехали Сибирь работать. Мы будем работать. Мы были сначала за Урман, за болот, с нашим председатель Ирзин...

Сергей Иванович закурил, хлопнув крышкой портсигара вятской работы. В толпе зашептались, заговорили что-то черненькому на языке, непонятном всем, кроме чувашей. Черненький переминался с ноги на ногу. Сапоги его напоминали средневековые, рыцарские: они походили на огромные, короткие раструбы, придавая его фигуре нечто воинственное; тщедушная его фигурка с усиками, в лохматой бараньей шапке была самой светской; в остальных говорила сама дичь, глушь, лесная дремучая заваль,

непроглядные века, полные комаров, диких зорь, деревень, звякающих лесными болотными колокольцами, с коровьими богами; в их говоре скрипели гниющие сучья, тянуло курным дымом, заунывно скрипела длинная колыбельная песнь народа, ослепленного мраком, нищетой и трахомой. Говор был древен и уводил во времена Иоанна. Черненький шептался с чубастым парнем. Сзади, в углу, старик, стоявший все время навытяжку, опустив длинные руки, и смотревший на печь невидимыми глазами, тоже по временам, словно в воздух, бросал отрывистые глухие фразы... Старик походил на Некрасова.

Изба шепталась. Бабы и девки стыли недвижно у печки и ухватов. Они стояли молча, одинаково безучастно опустив лица и подпираясь кулаками, словно у всех у них нестерпимо болели зубы. Они несли в себе семью и материнство народа, его печальные песни. Баба в черном засаленном саване кормила ребенка. Левая грудь ее лежала на животе. Большеглазый, головастый ребенок упирался в нее белыми, парафиновыми ручками и уходил губами в вялое, коричневое пятно на теле, таком будничном, что оно не казалось голым. Ребенок делал судорожные движения: чудилось, что он плыл по потоку жизни...

— М-да, — промямлил совсем резиново Сергей Иванович, — действительно... Положение ваше не из приятных...

Он курил, и дым папиросы тяжело вис в воздухе: так он был тяжел и насыщен.

Орнитолог смотрел прямо на дверь, ни разу не отведя глаз...

— Тяжелое наше положение, тяжелое, — закивал черненький и, конфузливо улыбаясь, остановился... — Народ просит, — проговорил он нере-

шительно, после паузы, — дать немного табаку... Мучаются все у нас, весь коллектив. И старики, и молодые — все вместе... У нас женщин одна молодая померла из-за этого...

— Померла... все просила закурить... молодая еще, — выступил опять парень с чубом. Он был в лаптях, с деревянными колодками и в домотканых серых штанах с огромными черными клетками. Штаны казались шахматной доской. — Ой мучилась она. Вчера померла. Молодой она, все курила трубку.

— Закуривайте! — сказал Сергей Иванович, вынимая портсигар и чувствуя прескверную тяжесть в душе и в теле.

В толпе засмеялись, зашептались. Из толпы потянулись десятки рук. В народе смеялись, закуривали и улыбались, как дети. Дети народа смотрели молча отовсюду, не смеялись и смотрели, как старики. И старик с изнуренной бородой подвижника, стоявший, как всегда, в углу навытяжку, смотрел попрежнему на печь и тоже глухо выкрикивал свои непонятные слова. Он звал, надеялся и боялся, что его забудут. Черненький взял папиросу и, осторожно держа ее между пальцами, отнес старику и весело заговорил ему на ухо. Старик смотрел прямо, глухо клокотал и выкрикивал. Длинные его руки дрожали, лицо было устремлено вдаль.

Курили жадно, садились на корточки, с наслаждением улыбаясь сладкому дыму, празднично располагаясь прямо на сыром, затоптанном полу. Дверь поминутно растворялась, новые люди входили и безмолвно усаживались вдоль стен. А черненький, шевеля шапкой, щурясь узкой, сумеречной прорезью единственного глаза, рассказывал, мигал и, словно управляя всей сложной, заповедной жизнью этой темной, ужасной избы, изредка бросал в народ

глухие, непонятные слова, загадочные русским, как шум темного, непроходимого леса. И народ слушал, сочувственно кивая головой.

— За Урман, в тайге — плохо, ой плохо, — говорил черненький, — там все кроты кончают... Много кроты. Саженей десять прошел — болот... А здесь земли крепкой, плодородной. Здесь надо всем народом поднимать, надо трактор, а после можно лошадьми. Нас всех вместе завел на Урман председатель Ирзин, лихой человек. Обидел народ. Он хорошо говорил, народ его слушал, а он обокрал всех и положил себе в карман... Он был офицер, торговец. И теперь ему будет суд. А мы народ, как один, — все рабоций...

— Как один, — повторяли в толпе.

А бабы, девки и дети слушали затаясь, на лицах их были написаны все века, одинаковые, как закаты над нищими крышами. Черненький рассказал все: здесь была жизнь огромной, плоской равнины, на которой селились люди, работали, валялись зловонными ночами по избам, землянкам и баракам, чтобы снова вставать, работать, подниматься над землей безвестными стеблями и сгнивать в ней вне истории мира. Но и сюда через серые листки газет, по столбам телеграфа, по талым, непроходимым дорогам неусыпно, неустанно, неутомимо шла генеральная линия. Черненький повторял слова: «контрактация», «коллектив», «кооперация», и эти слова включали зловонную, грязную избу, зарытую в снег на краю света, под ветром и звездами, в орбиту, которой неслась история, грохоча космосом.

На восток и запад шли столбы, летели, быстротечно суживаясь и хватая пространства, рельсы. Поезда проносили людей от берез и прозрачных перелесков московских равнин к сопкам и пихтам океана. В международных вагонах оранжевые

шелковые лампы покоили белоснежное белье, клетчатые пледы, веточки цветов; в вагонах хранилась тишина спальни, мягкая речь, уверенность и сытость чужой, избалованной жизни. Она неслась в огнях мимо степей и озер, вдали над темной, потухающей ямой, где в смрадной вони прелых тряпок и жестяной печки на корточках, на соломе вел рассказ народ, потерявший историю в еловых дебрях и заревах Иоанна...

В поездах шла быстротечная жизнь.

Англичанки съели свои бананы и апельсины и, не глядя ни на кого, выходили из вагон-ресторана. Немцы, из которых один высокий и полный, с притворно-грозными бровями, произносил, вставая из-за столика, «гоп-ля», курили сигары и записывали дневные расходы,— они говорили и кричали на весь вагон. Японцы с лошадиными желтыми зубами, похожими на клавиши старинного фортепиано, любезно улыбались всем, на лицах их, покрытых огромными шляпами, нельзя было прочесть возраста; они были одинаковы, и все были в лакированных туфлях с очень высокими, почти дамскими каблуками. Русские были вихрасты и разнообразны, как мир. Что думали они, никто бы не мог разгадать. Здесь в вагонах встречался весь мир в его полюсах — косности и движения. В спальной тишине международных над степями неслась тишина динамита.

А в национальном колхозе «Просвет», в десятках километров от линии, где проходил «The sibirian express», давно отдоили коров, наступала тишина, засыпали сырые, темные бараки. Молоко, падавшее теплыми густыми стрелами на дно жестяных ведер, входило в расчет и план генеральной линии. Оно шло на экспорт, вступало в неведомую, сложную систему мировых отношений. Оно становилось си-

лой, мощью, проникало в банки, играло на биржах, гнало с запада на восток заморскую сталь, механизмы, расчеты техники и энергетики. Оно было известно, качества его проверялись и контролировались знаменитостями. Молоко гремело в мире. Бабы, доившие коров за плетеными стенами загородок, были темны и непроходимы, о них знали, как знают о дикой сибирской заре, встающей над камышами. Генеральная линия включала их жизни в борьбу за покорение стихий и чисел.

Знали ли они эти великие тайны, обнаженные исторической волей, завоевывающей райские долины будущего? Давно уже отгорела железка, пришла ночь, в избе ворожила усталость и привычный сон, а черный одноглазый человек все говорил, щурясь, причмокивая, повторяя слова: «контрактация», «трактор», «социализм»,—слова, которые приходили сюда из времен, стоящих сегодня и впереди, сюда — прямо во времена становищ, лесных гатей, комаров и коровьих богов.

Лампа светила скучно, как окошко древней избы, подпирающей край глухого, лесного поля. Народ присмирел, слушал, смотрел на людей, которых никогда не встречал и вряд ли встретит. Пили чай: агент Захаров, снявший пиджак, с добродушной красной худой шеей, Сергей Иванович, ямщик. Орнитолог сидел не раздеваясь, с кудлатой головой, в очках и пил кипяток из высокой странной мензурки с делениями. Ему было совершенно невыносимо, и он решил спать на дворе в телеге. Он один не принимал участия в разговорах.

Агент пил чай неутомимо, грыз каменный сахар, потел и вытирался ситцевым платком. Это выводило орнитолога из себя, и он хмурился. Он с ужасом смотрел на окруживший его чужой, непонятный ему и привычный для всех здесь живущих мир.

Девки и бабы не переставая чесали головы, уродливо, по-старушьи повязанные темными платками. На огромной кровати, похожей на первобытный станок, сидели дети. Девочка с темными, прелестными глазами играла с мальчиком в куклы, волосы ее вились; другая, худая и длинная, смотрела на гостей не отрываясь, одергивая к носу грязную тряпку, служившую повязкой, на месте глаз у ней были узкие, черные, казавшиеся злыми и презрительными складки. Орнитолог узнал в ней маленького одноглазого человека. Трахома шла из дебрей Симбирской губернии. Дети несли в себе историю народа, не имевшего историков и дат.

Девочка с чудесными глазами играла, смеялась. Глаза ее были чисты, любопытны и полны жадности к жизни.

Агент выпил десятую чашку, крякнул и перевернул ее на блюдце. Человек с одним глазом одобрительно закивал головой, попросил закурить. Это звучало ужасом: они закурили зеленую, самодельную махорку, которую совершенно уже не выносил орнитолог.

— Ну, народы, — поднялся он, — я укладываюсь на воле... Вы, как хотите. Утром я ухожу на озеро... Имейте в виду, господа, ваш табак убивает всякую ясность мыслей. Это ужасно. Доброй ночи,— поднял он руку и обратился к кучеру: — Ты, дорогой мой, помоги мне устроиться... За сим до свиданья!

— Быть может, — начал Сергей Иванович,—и мне? — но оборвался: взгляд ученого был сух и официален. — Нет, уж я здесь... Тем более — сегодня заморозит. Желаю здравствовать.

Они вышли. В избе было тихо, словно все чего-то ждали.

— Серьезный человек! — с уважением вполго-

лоса проговорил одноглазый. — Серьезный очень человек.

И он крикнул бабам на своем приглушенном языке.

Принесли солому, разбросали ее на полу, стали укладываться семьями на овчины, кафтаны, сбиваясь по родам, тело к родному телу. Народ разувался быстро и привычно. Вереницы серого тряпья повисли под потолком. В избе стало еще сумрачнее, грязнее, зловонней. Древний старик стоял в своем углу, попрежнему одергивая голубую рубаху, смотря куда-то вдаль. Он ложился последним. Наконец и он исчез в сонной, заколдованной мути. Избу укачивало мерным дыханием. Стучали мерно и равнодушно часы, подвешенные к балке, и запел сверчок... Он пел мирно, грезил теплой печью, старой, старой прошедшей жизнью. Сон подступал, как рыданья к горлу, сладкой, безвозвратной силой, туманом. Сверчок пел грустно и ласково, о том, что есть материнские руки мира и что нет нищеты, болезней и печали; он пел о хлебе, о сытых ароматах, о караваях, полных душистого счастья, о том, что прошел лихой человек и все глаза просто и чисто смотряг на мир.

Сергею Ивановичу он пел о Москве, о чужих огнях, о далеком. Москва распускалась на бульварах, трамваи гудели бархатными шмелями и лето приходило веселыми девушками с голыми гладкими коленками. Актер Художественного театра в высоком, наглухо стянутом пальто гулял по праздничному тротуару; щегольское лицо его было сухо поджато старческими губами и блестело стеклышками пенсне; он словно сходил с английской гравюры, где кавалькада черных всадников летела в буковой аллее, а высокие люди в сюртуках держали длинные старомодные хлысты. Сияла сухая

полная весна. Сергею Ивановичу было тоскливо, он ничего не понимал и поэтому уснул, как безвольный русский человек, с сознанием, что ему грустно и, следовательно, он с хорошей, доброй, правдивой душой. А когда пришел ямщик, что-то говорил и громко бесцеремонно ругался, он уже ничего не слышал.

Изба спала, а сверчок слушал и пел... Не спал с ним лишь один агент Захаров да кучер, к которому тоже лезли всяческие мысли. Он лежал и думал. Агент сидел на корточках в полосатых розовых подштанниках и докуривал папироску, свернутую из газеты. Шея его была худа и обижена, усы выглядели по-детски, будто они могли и не быть, и весь он казался беспомощным.

Кучер никак не мог заснуть.

— Захаров, — заговорил он, вглядываясь в Сергея Ивановича и стараясь убедиться, что тот спит непробудно: — Чудной этот очкастый... — Он говорил шопотом: — Подхожу я к нему, а он лежит, как медведь, в очках, укрылся тулупом и глядит вверх. «Я, говорит, смотрю на звезды». Что же, говорю я ему, это очень даже антиресно. — Ямщик вздохнул и задумался. — А он лежит. «Ничего, говорит, ты не понимаешь: пропало мое озеро, о нем, говорит, во всех странах знают». Так и сказал: во всех странах знают... Очень даже вероятно.

Он помолчал. Агент добродушно тянул папиросу.

— А я и говорю: разви наш народ такое известное озеро пропустит? Тут одной рыбы на миллионы. А он как рассердится... Я думаю, товарищ Захаров, он из попов...

— А ты распускай язык! Значит, беспокоится человек.

— Беспокоится, это верно! — согласился ямщик. — А чудной! Рази народу помирать из-за него...

Агент ничего не сказал, стал укладываться и свернулся калачиком. Он стал трогательным, как все засыпающие люди. Долго молчали. Стучали часы, пел сверчок, в избе кто-то жалобно застонал и заворочался: это у бабы, кормившей ребенка, нестерпимо болели зубы. Она привстала, облокотилась на руку и так и застыла... Заплакал ребенок, баба сунула ему грудь, он сосал, баба держала на зубу табак, одолженный агентом. Ночь текла беспощадной.

— Захаров, — спросил опять кучер, не переворачиваясь, совсем задумчиво, — а правду говорит очкастый, что лебеди живут за триста лет?

Агент спал, кучеру не давали покоя мысли.

— Триста лет, — говорил он Захарову, — да как же это? Мы все погнием, а они будут летать и клыкать... Чудно. А я полагаю, Захаров, — продолжал кучер, — человек должон больше птицы жить... У нас в кино рассказывали. А что толку — ездиишь, ездиишь... Захаров, ты что, спишь?

Ему никто не ответил. Пел сверчок, спали лебеди за камышами, спала изба, спал Сергей Иванович. В соседнем бараке на голых досках крепко спала покойница. Не спали одни поезда, пожиравшие пространства, да столбы, гудевшие ночным ветром под горевшими полунощными звездами.

И до самого серого рассвета одиноко и безмолвно сидела на полу баба, у которой нестерпимо болели зубы. Ребенок сосал ее почти не переставая. И ей казалось, что нет предела ночи, всей жизни и темной страшной дороге, по которой она шла без начала и конца...

4

Откуда-то из-под земли пели хриплые петухи.

Когда погас северный ветер и звезды перестали отражаться в очках орнитолога, позабывшего их

снять на ночь, пришла заря. Она поднялась в морозе и разбудила камыш. Камыш побежал, затрубил — и ему отозвались гуси. Крики их полетели к солнцу и вспыхнули резко и неожиданно, как блестящая жаркая латунь. — Ка-га-гак! Ка-га-гак! — низко прошло над озером и смолкло. И все проснулось, потому что приходил день.

Орнитолог ушел в камыши с ружьем и фотоаппаратом. Его провожал человек в шапке, торчащей как рысьи уши, с лукавыми табачными глазами. Озеро закрыло их мириадами своих желтых султанов, пригибавшихся, как полчища степных всадников, идущих тучей завоевывать земли. Всадники пригибались к северу, они летели уже с юга. И коровы в низких стойлах хрустели остатками ночи мирно и вечно, чувствуя теплый день с юга. Все это звалось весной, которую ждали все, кроме покойницы; она была бессонна, ожидая мочалы и глубокой могилы, чтобы забыть всех.

Завхоз национального колхоза «Просвет» жил молодым и сохранил от Красной армии точность, смышленость и веру в самого себя. У него была записная книжка, в которой хранились планы и расчеты. Сегодня стояли наряды: рыть могилу, везти молоко, рубить березовый кустарник. Нужно было готовить сети и лодки. В коллективе хлеба осталось на три дня. Семена лежали, как священный алтарь, тремя стами пудов будущего. Председатель уехал в город, за сотню верст добиваться помощи.

— Нужно терпеть, — говорил он, — держаться до последнего...

Мысли завхоза работали неустанно: на него смотрели тысячи лет прошлого, редкие огни глухой российской губернии, весь народ, пять человек детей, старики, знающие все и не помнящие ничего. Из

России ехало еще шестнадцать семейств. Коллектив был должен государству пять тысяч рублей — три тысячи из них украл лихой человек и офицер Ирзин.

В городе шел суд, и народ одобрительно кивал головой. Пять тысяч! — это были деньги, из которых никто не получил для себя и на восьмушку табаку. Здесь сокрывались машины, лошади, будущее, — и ни одна баба не дождалась платка. Весь народ ожидал этого будущего. Он выходил из времен, от которых не осталось ни одного дня. Завхоз был неустанен, читал газеты, записывал в книжку. Бабы смотрели на него с молчанием, старики говорили с ним, размахивая руками. Он не знал экономики, но точно знал и днем, и ночью свои обязанности и то, что на него смотрит племя, которому он принадлежал всем существом. Племя шло волоком в неведомую страну, минуя пять шестых мира и пять шестых его законов, как солдаты, не говорящие ничего во время сражения. В неведомой стране лежала хорошая жизнь. Право итти туда было правом выходить к морю, — и даже старики хвалили это право и кивали, ожидая трубок, набитых табаком, и теплого хлеба, о котором поют неспящие сверчки.

Завхоз знал только людей и их работу. Поэтому он думал только о ней, и его дети, и жена тоже смотрели на него с молчанием.

Когда Сергей Иванович умудрился встать и нащупать свои мысли и ощущения, он понял, что он в дороге, где всегда его существо было вне работы, без мыслей, в одних ощущениях. Дорога тянулась пустыми местами, ночевками и перегонами. Жизнь оставалась в кабинете, в учреждениях, в системе. Людей он только ощущал, — подходят ли они к нему, или нет. Генеральный план был для него Элладой. Сейчас осталось только ожидание тряски,

отвращение и усталость. Он увидел день, тусклые окна, девок у пылающего огня и вчерашнего старика, так же стоящего в углу с опущенными руками. Одноглазый человек сидел у печки на корточках и ел круглые оладьи, передаваемые по рукам прямо с жара. Баба в черном, с больными зубами, снимала их с противня, ворочала сковородником. Тут же месили хлеб; дети сидели попрежнему на кровати, свесив ноги. Изба задыхалась от дыма. Кучер возился у лошадей: с него давно сошли ночные мысли, затылок его краснел от утренника, и он одергивал лошадей, смачно ругаясь, тпрукая, повторяя свое любимое: «У... за-стыли... Н-ну! Дьяволы!» Он выспался отлично и вымылся снегом.

У бараков и машин стоял уже чистый, ласковый день. Завхоз отдал приказания· рыть могилу, итти в лес, — и люди выходили на волю с лопатами и топорами... Молоко, розовое от зари, остывало в бидонах. Оно родилось чистым, как глаза ребенка. Агент Захаров сидел за столом и доказывал завхозу о преимуществах крупных объединений и нелепости заводить трактор на десяток семейств. Лицо его серело, прокуренные усы шевелились, и Сергей Иванович, натягивавший противно скользкие, сальные сапоги и как никогда ощущавший себя потерянным и одиноким, чувствовал в его голосе непонятную осанку, домовитость, ту самую, которую замечал у ямщика, когда он в бурю ли, в ночь ли, при любых обстоятельствах, медленно, не торопясь спрыгивал со своего места и как будто для особого удовольствия затягивал возню у лошадей. Какая ужасная, тупая, беспощадная жизнь! Да, все это надо было переделывать, все не годилось ни к чорту, — но как переделывать, кому?

Сергей Иванович чувствовал раздражение против агента. Зачем соваться в каждое дело: товарная

значимость колхоза ничтожна; в его работе это была тысячная единицы, а его занимали пятизначные, семизначные ряды знаков; то, что говорил агент, казалось ему давно знакомым и скучным. Пить чай не хотелось и голода не было: все поглощали вонь и смрад, при утреннем свете ставшие еще более нестерпимыми.

Запахи имеют звуки и краски, стоит лишь их перечувствовать и заставить себя быть невесомым, как в детстве. В избе запахи не бегали, не гонялись друг за другом: они стояли и звонили. Они гудели и жужжали, как надтреснутый колокол, они были бурыми, зелеными, лучились и липли, как канареечный желток; бум, бум, бум — сливалось их назойливое завыванье, то пропадая, то вновь возникая жаркой жужелицей... Запахи нависали в ощущении, как большая ядовитая муха, в которой висела скука, усталость, забытье и зной... Буб, бум — било в голову бурое зловоние, а зеленая, кислая вонь подвывала замшело, усталым голосом... Изба прела, парила, кружилась. Агент Захаров походил в этом аду на клок угольного дыма, в нем было что-то от старомодного товарного паровоза, агент толкал своим голосом бесконечные мысли, как пустые, похожие друг на друга вагоны клопиного цвета; вагоны, пружинясь, шли, сталкивались, а завхоз кивал головой и слушал... Бабы, тряпки, дети и кучи соломы — все пропадало в этом звоне, дыме и жужжании. Вонь наступала, как нестерпимый воспаленный свет, ослепляющий больного. Сергей Иванович, задыхаясь, выбежал в мир, больно стукнулся головой о какую-то балку, вышел на снег.

— Боже! — хотелось стонать ему. — Как беспросветно, ужасно! Какая страна, какие люди: без мыслей, чувств... Какой смрадный ужас, плодливость и равнодушие!

Он поднял голову, пил воздух и солнце, спотыкаясь, брел по снегу подальше от барака. Но в небе, стоявшем, как океан, не было сочувствия. Пространства мерцали грозно и бездонно, равнодушные к утопающему. Под ними шла степь, пустая, как небо, камыши лежали, как рыжие длинные облака, и обе стихии — и наверху, и внизу — были суровы, мрачны и жестоки пустой, бездетной старостью, не вскормившей еще здесь своих единственных, счастливых детей — человека.

Над камышами летели серые гуси: их крики уносило к тундрам. Они летели неведомо почему к болотам севера класть яйца, линять, чтобы возвратиться в Индию. Сергею Ивановичу не было до них никакого дела. Он утопал в пространствах. А кучер, стоявший у лошадей, смотрел вдаль и медленно жевал кусок холодного, подмерзшего за ночь хлеба. Два парня открыто сидели на снегу, погруженные в собственные дела; они походили на кондоров.

Ах, это светило утро, к которому земля готовилась миллионы лет! Но кто мог думать об этом и радостно запечатлевать это прекрасное утро! Из камышей к баракам бежал самый веселый человек в шапке с рысьими ушами, провожавший орнитолога. Бежал он, как заяц, смешно и лукаво дрыгая ногами, словно неожиданно припомнив, что у него осталось дома неотложное дело. Увидев Сергея Ивановича, он замахал руками, закричал весело и побежал к нему... Кучер глядел на него презрительно и думал, что чуваши — последний народ. Но и он медленно и нехотя пошел к экономисту. Втроем они курили табак, веселый улыбался, поправлял ежеминутно шапку, оглядывался по сторонам. Ему до смерти хотелось рассказать веселую историю и соврать, так как он считался первым балагуром, картежником и беспутным; люди, стоявшие перед ним, мол-

чали, веселому было это невыносимо. Кроме всего прочего, ему надо было на работу, а итти не хотелось: весенний день таял, камыш выгорал, с земли несло легким угаром, и степь казалась пустым домом, в котором выставили все окошки. В такие дни в Москве на дворах вывешивают шубы, они кажутся серыми от солнца, нафталин пахнет темным детством, а возле шуб сидят и караулят седые дамы.

Время шло, ехать решили после полудня: так условились с орнитологом. Веселый убежал, размахивая руками, на работу, завхоз с агентом возились около каких-то досок... Им помогал одноглазый, вскидывая доски к глазу, примеривая их и похлопывая руками. Верстак стоял здесь же под небом. Агент скинул полушубок, плюнул на руки и начал строгать, — и, захлебываясь, завиваясь словно схваченные пламенем, стружки кудрявились и бумажными кольцами свисали с его рук. Стружки завивало, они выворачивались кверху, и дерево становилось белым, как кость, праздничным, молодым...

Агент сбросил шапку, морщинистый лоб его краснел: он работал ловко, молодея с каждым взмахом, так же, как дерево, строгал, ворочал доски и, приставляя их тоже к глазу, бросал в сторону. Пила жалила дерево, как оса, и сухие доски давали опилки, сырые, пахнущие речным ветром: доски гладило солнце, они лежали звонко, опрятно, весело. Одноглазый смотрел, одобрительно причмокивал и быстро приговаривал: «Хорошие доски! Жалко доски... Ты мастер! Правильный мастер! Хорошо...»

Агента и здесь стали называть на «ты». Он взмок, скинул пиджак и в одной налипшей рубашке, жадной к телу, продолжал пилить. Гроб выходил на славу, длинный и узкий, с гранеными тупыми боками, принятыми всеми народами и культурами;

в нем славно должно было пахнуть солнцем, свежим, чистым домом, сквозняком.

А покойница лежала в землянке, обмытая золой, в новом ситцевом сарафане, повязанная коленкоровым скользким платком с черными горошинами. Она ждала. Голые ноги ее, связанные синей тряпкой, казались прозрачными. Она была плоска, узловата и измучена, как корни огромного столетнего дерева, выползшие вдруг наружу. Зубастая голова ее хитро светила высохшими, незакрывшимися зелеными глазами. В землянке настоялась тишина горя, которого некому выплакать. Разымчиво пахло ушатом, сладковатым запахом мертвого, и от железной печки, сушившей воздух, еще сильнее и печальнее доносило сырость лавок, вымытых по случаю похорон, и хлебной опары, замешанной здесь же у печки. И люди, сидевшие здесь, смотрели ей в лицо, не отрываясь, словно от мертвой исходила завороженная сила.

Что побудило Сергея Ивановича притти и взглянуть? Чувство ли любопытства? Или та непонятная сила, которая заставляет людей жадно, толкая друг друга, бежать к раздавленному трамваем и неотрывно глядеть на кровь, кости и на то чужое, ужасное, что лежит на земле с серым, пустым лицом, грозным, как хаос? Неизвестно. Но он пришел, снял шапку и остановился.

Мертвая держала время, и оно не двигалось. Старуха с красными, запухшими глазами смотрела на нее бесцветно; ничего нельзя было прочесть на ее лице: народ, не имевший истории, не читает своего горя. Концы платка над головой старухи поднимались, как черные хвосты: они походили на перепончатые летучие крылья. Возле нее баба помоложе равнодушно кормила ребенка. Старуха смотрела на мертвую, как будто она смотрела на нее

всю жизнь. Ямщик кашлянул. И Сергею Ивановичу, и ему стало неловко. Минуты остановились, жизнь проходила где-то далеко, далеко от этих печальных мест...

— Ну, что... — спросил вдруг у старухи неведомый в Сергее Ивановиче трусливый, любопытный человек, — жалко дочку? Хорошая была?

И Сергей Иванович сам ужаснулся пошлости и никчемности этого вопроса.

— Не дочь она ей... сноха, — поправила его баба, кормившая ребенка.

Старуха смотрела прямо, не отвечала. Но вдруг круглые мутные слезы потекли у нее по щекам, глаза ее стали совсем линялыми, и она заплакала, словно первый раз в жизни.

— Холосая... ой, холосая была, — заговорила она быстро, не отирая слез, вся заливаясь рыданьями и болью. — Холосая... такая холосая... никогда меня не ругала... ой... ой... ой-ей-ей-ей...

Она рыдала не переставая, жалобно воя, и крик ее походил на тот, что вырывается из операционной, где человеку беспощадно блестящими инструментами, не обращая внимания ни на что и даже не утешая, быстро и жестоко режут тело, — и он слышит и чувствует, что навсегда кончена его веселая, прежняя жизнь, и, падая в темноту, ощущает, как отделилась, исчезла его раздробленная только сегодня, но еще жившая нога и теперь страшно шлепнулась в ведро...

— Холосая... ой холосая... ой... ой... ой...

Крики старухи резали сердце, холодили спину и проникали страхом. Они стали стихать, — она снова смотрела на мертвую, как прежде, мучительно, не отрываясь.

Сергею Ивановичу стало нехорошо и стыдно. Но другой человек, равнодушный, никогда не видя-

щий людей, помимо его воли смотрел на чужие страдания, резонерствовал и любопытничал.

— А мучалась она сильно? — спросил этот человек дрянненьким голосом, дрябло, не веря заранее, что в этой мертвой ощеренной бабе могла пройти страстная жизнь, могли быть думы, надежды, нежность и даже физическая боль.

— Мучилась, — спокойно сказала молодая. — Сильно мучилась. У ней муж веселый, любит водку, всю жизнь в карты играл... Она его все звала. Все упрашивала, плакала: «Ты женись, говорит, ты еще молодой... Ты женись...» Она замолчала и добавила задумчиво: — Мучилась так сильно.

— Она от перебоя табаку померла! — вмешался равнодушно ямщик. — Тут все бабы курят: у них у всех груди порченые...

— Табаку, табаку... — закивала старуха сквозь слезы: — просил она табаку...

Становилось невыносимо. Сгинул экономист, сгинул обычный, примелькавшийся Сергей Иванович, — на их месте появился давно простой, беспомощный человек. Ему стало больно за себя, жутко, стыдно, как в детстве, и он, краснея, путаясь ногами в соломе, вышел в сени, ничего не понимая, неся в душе тяжелый позор своего эгоизма, трусости и одиночества. Этот человек вышел к воздуху и к жизни, увидел мир и почувствовал, что он слаб и тщедушен. Он был один и тонул в стихии, которой была жизнь, — и он почти заплакал, но о чем? о ком? Неизвестно.

Навстречу ему попался веселый хлопец в рысьей шапке, с табачными глазами, уже старый знакомый. Хлопец сконфуженно улыбнулся, на ходу снял шапку и показал ему горсть заржавленных, кривых гвоздей. Один гвоздь так и застрял у него в волосах. Он засмеялся, беззаботно хлопнул шапку на голову и исчез в сенях.

Сергей Иванович пошел к телеге, нашарил тулуп, завернулся и задремал. Мирно припекало солнце, пахло сеном, и ветер щекотал его лицо смеющейся былинкой. Небо мерцало океаном. В телеге он проспал до самого полудня.

И он не видел, как поздним утром, когда кругом уже распустило снег и по льду пошли выпуклые, похожие на стекла объективов лужи воды, древнее племя, вышедшее с далеких финских озер, провожало свою покойницу. Племя растеряло свои могилы необозримо — по лесам, по озерам, по степям, и везде они исчезли, как истоки дремучих речек, не имевших начал. Род продолжал род, гнилые избы попрежнему курились дымом, и не было песни такой печальной и заунывной, чтобы заплакала о своих сынах зеленая земля...

Гроб несли молча всем коллективом. Его обнесли мимо низких землянок и сугробов, мимо машин, переброшенных генеральной линией, мимо собаки, спавшей попрежнему на крыше. Новая и последняя отчизна смотрела на людей со снегов и навоза, на гроб, ярко-желтый на солнце, и молчала, как всегда. Крышку несли ребята. Процессия шла бестолково, гурьбой, и казалось, к смерти племя шло волоком, так же как оно шло в жизнь. Самый древний старик, тот самый, походивший на Некрасова, не шел за племенем, а провожал его глазами... Он стоял у барака, обращенный лицом на восток, неподвижный, опустив длинные руки, под солнцем, сиявшим из голубого океана и тонувшим в нем великолепным сиянием; ветер шевелил его волосы, он смотрел неморгающими глазами на перелесок, куда уходило племя; туда уплывала жизнь, люди, гроб — и в нем зеленоглазая чувашская девочка, которую он помнил за тридцать лет тому назад. Это было давно, в старой жизни, где-то в симбирской Рос-

сии. Старик стоял вестью всех могил и истоков народа.

День сверкал и лучился. У черной, зиявшей полночью ямы гроб поставили на землю, и все племя сняло шапки. Веселый муж стоял виновато и мял в руках свой рыжий треух; за поясом его был топор, а в шапке гвозди; его мысли, как всегда, уносило в страны рассказов, в жадную даль... Агент Захаров вместе с завхозом забрались на пригорок земли, выброшенной из могилы и черневшей сырыми, жирными комьями, и завхоз поднял руку...

Он заговорил глухо, отрывисто, так, как говорил со стариками, о том, что никогда не станет известным читателям, знающим наше русское слово. Неизвестные слова поднимались и падали, как страницы и письмена затерянных становищ, в них складывались шумы лесов, скрипы повозок и стуки топоров, рубивших еловые срубы; в них смутно и косматo играли зори и дымы, плакали дети и набегали хлеба, пожары, болезни; черные оспы горели под серыми крышами, необозримо шли избы, гудели мухи и за окнами пылился зной; в них заунывно, длинными ночами скрипели люльки и пели женщины, колыбельные песни мешались с шорохом тлевших гробов, сырые незабудки росли на ядовитых лесных чарусах, комары и болота зудели под заревами... А племена шли, шли и шли. Они пахали сохой, доили коров и исчезали. И слова складывались в огромную жизнь — бабы и старухи выли длинно и протяжно, как саван в гробовой колоде над нищим телом.

Слова складывались, как деревни складываются из изб. Завхоз говорил длинно и глухо: деревни тянулись без конца, жизнь не имела пределов, слова не могли передать всей ее длинной истории.

Он оборвался, оглядел всех недоуменно, жалобно крикнул... И бабы завыли снова длинным воем, без конца и начала.

Тогда выступил агент Захаров. Он стоял, сложивши руки у шапки, смотря в народ темными усами, ставшими под солнцем багровыми и синеватыми. Щеки его добродушно золотились густой щетиной.

— Товарищи, члены национального колхоза «Просвет», — начал он медленно, и весь народ поднял головы и перестал плакать. — Товарищи! Мы провожаем и покоим гражданку Марию Денисовну Ефимову, прибывшую с вами сюда строить новую жизнь...

Агент замолчал, передохнул.

— Она, — продолжал он громко, сжимая кулаки и отчеканивая каждое слово, — была верным товарищем своему заморенному народу и понимала, что пора перестать плакать нам, как плакали мы черные сотни лет. Она прожила свою жизнь, трудясь с утра до вечера, вырастив малых сирых детей, и за кусок хлеба отдала свою жизнь. За этот кусок хлеба она заплатила ямой-могилой царям, помещикам, генералам. Она не пожаловалась никому. Но пусть кажный из вас помнит, что за этот черствый кусок положона ее жизнь. Пусть кажный из вас знает, что теперь вам некому платить своим потом и кровью... и кажный из вас помнит сознательно только себя и коллектив. Вы бедняки, у вас нет пауков-эксплоататоров. Вы дружный народ и живете смирно, по-рабочему — одним котлом. Пусть, товарищи, машины и советская власть поведут нас к жизни, где вы не будете расти, как кусты, а будете жить и не сгнивать, как безызвестная трава... Пусть поведет она нас туда, где кажный будет кончать свою жизнь под музыку... Над этим

гробом, — выкрикивал агент, бросая кулаки, — проклянем всем народом мрак, нищету и невежество. Проклянем то, что мы жили как под снегом, смеялись друг над другом, молились доскам и порознь плакали, помирая. Никто не поможет нам чистыми руками. Мы сами своими мозолями, такие же серые, как эта гражданка, мы сами, неизвестные, плохие, будем бороться... Бросьте плакать, товарищи! Как мать унимает свое дите, нас унимает республика. Оставим память, чтобы сильнее трудиться. Проклянем могилы, куда нас силой толкали. Скажем мы все над заморенным бедным человеком: республика все слышит и все видит...

Он сделал паузу, погрозил в пространство, и глаза его стали совсем простыми; он поднял указательный палец:

— Она, как мать, знает о кажном своем дите на чужбине. Но она не плачет, потому что много ей кормить и обувать, много ей надо соблюдать и принимать к сердцу, товарищи... Вечная память! Склоним знамя борьбы над трудовыми руками... Отдыхайте же мирно, покойтесь, гражданка Денисова...

Он кончил, обтер лицо грязным, измятым платком. В народе молчали. Словно поезд готов был отходить в далекие, чужие страны, — такая чистая, глубокая стояла тишина. Завхоз положил на грудь покойницы красный флажок. Бабы сгрудились у гроба и кулаками утирали слезы. И только седая старуха жалобно выла, приговаривая: «Ой... ой... о-ей-ей...» Веселый муж вынул из-за пояса топор и приготовил гвозди. Крышку прилаживал одноглазый черненький, хозяйственно припирая ее коленкой, гвозди входили в дерево бойко, и малый в рысьем треухе заколачивал их, как ему всегда и полагалось, жизнерадостно...

Когда закопали могилу и утоптали могильный

холм, солнце поднялось высоко, в океане света и воздуха стоял штиль. Легкое облачко звало степь парусом или заморской чайкой. Издалека над камышом летели птицы крестами, стрелками и треугольниками, высоко, высоко, чтобы высиживать новых птенцов в северных тундрах.

5

Весною хорошо и весело расставаться. Это сказал писатель, любивший всю жизнь, как юноша, и умерший далеко на чужбине. Он жил в городе, увитом плющом, где занимал верхние мезонины чужого дома, плакал от любви и написал, что старость самое большое преступление, которое никогда не прощается. Писателя до сих пор помнит и любит все юношеское в огромной России, сумевшей простить одинокому страннику его грузные, холеные седины. Говорят, в том городе, где он жил, самая лучшая и веселая весна. Бульвары и мансарды празднуют ее каштанами и воздухом, таким легким и изящным, что он, кажется, выпил все лучшие женские глаза в мире. «Весною хорошо расставаться, любезный читатель!» И еще лучше расставаться в дороге, где люди стремились, как птицы, помогали друг другу и беззаботно забыли и покинули свои встречи навсегда. Они разошлись, забыли и даже не верят, что все это было; был какой-то сон, совсем не настоящий, и никто не вспоминает, как выглядел вагонный проводник, как называлась ночная станция и как кучер, пересчитав деньги, на прощание махал шапкой, а на путях в сквозных ветках березового перелеска горел зеленый перстень семафора...

Поезда уносят все.

Через несколько дней экономист Сергей Иванович Троицкий дома, как всегда, укладывался

спать и долго чистил зубы. Он помолодел, загорел и забыл уже все — и дорогу, и степь, и далеких случайных спутников. Он укладывался спать, как всегда, после долгой работы, и от сознания своей усталости, налаженности жизни ему было тепло и казалось, что он хороший и порядочный человек. И ничего в нем не осталось от ночи, проведенной в избе на берегу озера, носившего дикое, зароставшее камышом название — Тандов. Да и существовало ли это озеро, избы и какие-то странные, зловонные люди? Их вовсе не было на свете, — Сергей Иванович засыпал. Карточка некрасивой женщины на его столе тоже спала, а надпись на ней говорила, что не существовала в жизни и «чистая дружба».

Городок за окнами молчал, лишь в тишине глухо лаяли собаки. Через станцию, нависая трехглазыми оранжевыми огнями, тяжело проходил скорый, — он грохотал стрелками, шипел тормозами и менял паровоз, который подводили к нему как раскаленную племенную лошадь, осторожно, на вожжах, — и снова уходил, вращая колеса, клокоча паром и маслом и неистово крутя сталью по насыпи, поднимавшейся за ним, как безумный поток приводного ремня. Поезд дымил на Москву и уносил тысячи судеб и вестей.

С ним вместе уходил на Москву солидный, объемистый пакет, адресованный Главнауке. В пакете точным языком квалифицированного орнитолога Николая Александровича, имя которого было известно научным журналам всех языков, сообщалось о «возмутительном нарушении исследовательских планов вверенного ему учреждения мирового значения»; обращалось внимание на необходимость немедленного устранения «пришлых элементов с варварским отношением к памятникам природы»; писалось о «срочных мерах», «невозможности рабо-

тать»; о переселении национального чувашского коллектива «Просвет».

Поезд шел бессонно, оглушая переезды, перегоняя столбы: он опаздывал на двадцать минут. Отсветы его топок неслись в пляске мрака. Степи, лежавшие кругом, кружили, заворачивали, и перелески плыли, точно были посажены на карусель.

А в большом сибирском городе, прозванном русским Чикаго, где новые дома из бетона и стекол стояли прямо на пустырях и захолустьях, в эту ночь происходило заседание коммунистического конвента края. Было уже за полночь, матовые электрические лампы теряли свою зоркость.

Секретарь конвента, бритый наголо человек, в рубашке «апаш» и сером пиджаке, кончил доклад и закурил трубку. Над столом, покрытым красным сукном, громоздились головы, бумаги, графины. Люди, сидевшие за столом, молчали и походили друг на друга. Заседание продолжалось, колокольчик секретаря коротко звякнул.

— Слово имеет, — сказал он, отрывисто поднимаясь и горбясь, — член краевого комитета партии Василий Герасимович Захаров...

И, улыбнувшись рыжеусому вставшему рядом с ним человеку, добавил:

— Вася, уложись в двадцать минут... а то с курорта приехал — заговоришься.

В зале засмеялись и затихли.

Конвент пролетарского века слушал. «Агент» Всесоюзной коммунистической партии большевиков Захаров, вернувшийся из отпуска, использованного для объезда юго-западного сектора крестьянских хозяйств, говорил пятьдесят минут. В середине речи, не прерванной никем, он скинул пиджак и остался в голубой ситцевой рубашке, под

воротом которой его худая шея казалась детской. Он сжимал кулаки, отирал лоб платком, усы его шевелились. Генеральная линия творила жизнь, полную трагических противоречий, удач и неудач, героизма и юмора, но она шла неуклонно к будущему, побеждая пространства, уничтожая препятствия, объединяя единицы в сотни, складывая сотни в миллионы...

Стенографистки были измучены, менялись через каждые пять минут. Когда Захаров кончил, лампы стали будничными, графины на столе желтыми и равнодушными. Захаров говорил о том, что партия, вооружаясь техникой и наукой, должна все неуклонней двигать в будущее низшую, загнанную былыми хищниками массу деревни. Он говорил о том, что легче перешагнуть в это будущее не имеющим ничего, чем другим, бешено цепляющимся за жалкое, награбленное благополучие прошлого. Генеральная линия, — говорил он, — победит, несмотря ни на что. Проклятые своим «ничем» будут благословлены «всем», что они завоюют...

Конвент двигал стульями и расходился. Город стоял на заре, и люди возвращались по домам со своими портфелями уже тогда, когда кругом на всех степях, лесах и озерах, на тысячи верст кругом, поднималась жизнь. Океан ее мерцал наверху, огромная плоскость, похожая на небо, дымилась внизу. Пространства шли на юг, на восток, на север. И над всем миром, крича на красную зорю, пересекая земли, где спали в могилах безвестные народы, озера, где мириадами нарождался и погибал камыш, серыми стрелками, длинными снеговыми крестами летели гуси и лебеди.

Они шли от Каспия по великому северному птичьему пути. Впереди всех из туманных озерных сте-

лей дикими белыми парами выходили лебеди. Они шли неуклонно, с верностью полета земли, никогда не сворачивая с пути, не облетая гибели.

Их видели везде на чистой заре, в хрустале которой они шли низко, прямо опуская пушистые крылья, повторяя заунывное: глюк... глюк... глюк, что означает счастие. Снежная, огромная, миловидная печаль была в этих криках. Люди знали, что они, летевшие над их грязными и позорными бараками, над их могилами и трудом, живут по триста лет, — и люди поднимали головы и провожали их глазами в нищие тундры.

И никто не подумал о том, что эта мощная красота, сила и печаль, лучше и светлее которых не видел человек, выводят свою верность, жизнь и снежное племя там, где всего скуднее и беспросветнее мир; и что похоже это чистое племя, летящее в даль, на старые, заветные мечты, на ту зовущую думу народов у всех колыбелей и песен, что родилась у самых неизвестных и обездоленных и должна долететь до своих краев, несмотря ни на что.

Москва. 5.31

Содержание






UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 072012633